Михаил Николаев

ДЕТДОМ





Михаил Николаев

ДЕТДОМ

Литературная запись
ВИКТОРИИ ШВЕЙЦЕР

RUSSICA PUBLISHERS, INC.
NEW YORK • 1985

NIKOLAEV, Mikhail Ivanovich (b. 1926), with
SCHWEITZER, Viktoria Aleksandrovna (b. 1932).
DETDOM.

Cover design by *Erik Pervukhin.*
Photograph by *Marina Schweitzer.*
Library of Congress Catalog Card Number: 84-51670
ISBN: 0-89830-092-4

RUSSICA PUBLISHERS, INC.
799 Broadway
New York, N. Y. 10003, USA.

ПАМЯТИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ

ОТ АВТОРА

Книга, которую я хотел бы написать, должна называться ”Кто был ничем...” — строкой ”Интернационала”, так много когда-то обещавшего человечеству.

Мне кажется интересным рассказать о становлении простого советского человека, каким мне предназначено было быть, о том, как советская власть формирует нужного ей человека ”социалистического общества”, и о том, как и почему я не стал таким нужным человеком. Моя жизнь представляется мне одновременно очень типичной и не совсем обычной. Мне выпало все, что достается простому советскому человеку — может быть, правда, чуть больше, чем положено на одного: детский дом, ремесленные училища, заводы и армия, война и лагеря. Но я все-таки не стал нормальным советским человеком, рано понял ложь и подлость этого строя и как мог пытался ему противостоять.

”Детдом” — первая часть задуманной мною книги. Вторая — ”Отрочество” — будет посвящена годам войны до моего добровольного ухода в армию в 1943 году. Третья — ”Юность” — службе в армии до первого ареста в 1950 году.

Хотя я и провел в лагерях почти пятнадцать лет: при Сталине, при Хрущеве и при Брежневе, — у меня нет потребности писать об этом. На ”лагерную тему” уже много написано.

Я не думаю, что какая бы то ни было книга может что-нибудь изменить в жизни. Но надеюсь, что найдутся читатели, которым будет интересно познакомиться с моей историей.

Мы работали над этой книгой с моей женой Викторией Швейцер. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас вниманием и советами.

Один из наших друзей, читавший самый первый вариант ”Детдома”, заметил, что ему как бы не хватает воздуха времени, что молодые совсем не представляют, что происходило до войны, для них это уже далекая история. И тогда мы решили посмотреть старые газеты и выбрать для книги кое-что, что показалось нам характерным и интересным.

РСФСР

МИНИСТЕРСТВО
охраны общественного
порядка

Управление
ИТЛ ЖХ-385
лаготделение №11
«26» октября 1967 г.

Выдан паспорт серии XIV-ЕЖ
№ 524552 29 XI 1967 г.
Б-Днестровский ... милиции
Одес...

Форма «Б» 5

СПРАВКА № 076372

СЕРИЯ АА

Выдана гражданину-ке Николаев Михаил Иванович

год рождения 1926, национальность русский

уроженцу-ке г. Орехово-Зуево Московской области

осужденному-ой Судебной коллегией по уголовным делам Верх суда Грузинской ССР

«20» марта 1958 г. по ст. ст. 19-58-1а УК Гр. ССР с прим. ст. 48 УК Гр. ССР УК

к 10 годам лишения свободы ~~с конфискац. имущест.~~

имеющему-ей в прошлом судимости —

в том, что он-а отбывал-а наказание в местах заключения

с «26» октября 1957 г. по «26» октября 1967 г.

откуда освобожден-а по отбытии сроке лишения свободы и убыл в г. Белгород-Днестровск Одесской област

Начальник подразделения
(подпись)

Начальник части
(подпись)

Печать

...ительно-трудового лагеря ЖХ 11 отделение № ... МООП РСФСР

Выдан билет на проезд до станции Белгород-Днестровский

Одесской обл железной дороги

или деньги на билет в сумме
(прописью)

Выдано денег на питание в пути один рубль 44 коп
(прописью)

Выдано личных денег в сумме
(прописью)

Прочие выдачи из фонда освобождения двадцат[illegible] руб[illegible] рублей
(сумма прописью)

Начальник финансовой части

(подпись)

Подпись освобожденного-ой

Согласно Положения об административном надзоре органов милиции за лицами освобожденными из мест лишения свободы ст. 2. п. в. передается под административный надзор

Нач. ч. [подпись]

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

25 октября 1967 года. Последний день в лагере. Десять лет позади. Завтра я должен выйти на волю. Прощай, Мордовия! Прощай? А может быть — до скорого? Ведь оба прошлых раза, выходя из лагеря, я был уверен, что прощаюсь с ним навсегда, а пробыл на воле один раз полтора года, а второй и вовсе восемь месяцев... Так что с 1950 года я был свободен чуть больше двух лет. Но тогда я был мальчишкой, а теперь у меня полно седины в бороде да, наверное, и волосы окажутся полуседыми, когда отрастут...

Мы прохаживались с Андреем Синявским в последний мой лагерный вечер. Он говорил, что хорошо бы мне устроиться в библиотеке в каком-нибудь тихом и незаметном месте — ведь больше всего на свете я люблю книги. Что там можно будет оглядеться и подумать, как жить дальше. Я молчал. И не только потому, что привык за свою жизнь больше помалкивать, не впадать в откровенность — да что притворяться? — стал скрытным и ни одному человеку на свете не говорил, что у меня на душе. Не было у меня таких людей и такого человека. Но в тот вечер я молчал не поэтому. Не мог же я сказать Синявскому, что я боюсь завтрашнего дня, боюсь оказаться по ту сторону колючей проволоки и вышек, боюсь этой долгожданной свободы?! Разве он может понять меня? Вон, он и письма все время получает, и посылки, и жена к нему на свидания ездит и даже с друзьями: те хоть поглядят на него сквозь забор... Небось, они его ждут-не дождутся. А когда придет его время выходить, обязательно она за ним приедет и, наверное, костюм вольный привезет — не ехать же ему домой в клифте и телогрейке... А меня на воле не ждет ни одна живая душа, и я боюсь завтрашнего дня, боюсь — что тут поделаешь? Страшно в сорок лет, одному на свете, начинать новую жизнь, неизвестно какую, да еще со справкой об освобождении вместо паспорта. Вот я и молчу: стыдно признаться, да и не поймет он меня.

Дела свои лагерные я закончил: роздал свою библио-

теку — а она у меня хорошая собралась за десять лет, четыре мешка книг: ну и злились же надзиратели, когда приходилось шмонять меня при переезде из лагеря в лагерь! И альбомы вырезок по космонавтике и космическим ракетам роздал, пусть ребята в лагере продолжают это дело. А мне не везти же все это с собой неизвестно куда! Выйду я завтра налегке: зубная щетка и полотенце с мылом в кармане. А руки свободные, так удобнее.

Ночью я спал плохо. Думал: что это за город такой Белгород-Днестровский, куда мне дали направление из лагеря? И как я там устроюсь? И как буду проезжать через Москву, и смогу ли повидать Леню Р., который освободился в августе и оставил мне московский адрес своей матери? И как все там, на воле? Многое изменилось за десять лет... Какая новая жизнь ждет меня там? Да нет, не хочу я никакой новой жизни и даже библиотекарем не хочу работать ни в каком тихом месте. Ничего я здесь больше не хочу. Вот огляжусь в этом Белгороде-Днестровском, граница там, вроде, недалеко... Надо бежать. Хватит с меня этой жизни — и новой, и старой...

Толпы людей повидал я за свою лагерную жизнь, о множестве слышал и читал, и думаю, что мне не повезло больше всех. Слышал — с придыханием говорят: погубил Сталин ленинскую гвардию! Или: несчастные маршалы — расстреляны ни за что ни про что! Как ни за что ни про что? Разве все они не участвовали в тех же делах, пока он их не уничтожил? Разве не уничтожали друг друга, не предавали самых близких людей, пока очередь не дошла до них самих? На наших глазах утвердилась тенденция считать мучениками тех, кто погиб при Сталине. Вот Антонов-Овсеенко-сын пишет в своей книге "Портрет тирана", какой чистый и честный большевик был его отец, и как несправедливо погиб. И винит только Сталина и тех из его приспешников, кто остался в живых. Да ведь его отец делал эту революцию и был на важнейших постах, вплоть до наркома юстиции РСФСР при Сталине — задумался ли сын, сколько на нем было крови?.. И как это получилось, что его мать арестовали еще в 1929 году, а отец продолжал свою советскую карьеру? Не бросил свой партбилет в лицо "тирану", не отказался от всех своих постов, а робко надеялся, что его "минует чаша сия", или терпеливо ждал своей очереди... Мне никого из них не жалко; каждый получил по заслугам. Они все сознательно и по своей

воле были творцами и соучастниками всего этого. А меня сука-жизнь совсем маленьким несмышленышем бросила в эти жернова и давай молоть. За что? Может быть, за родителей?..

И пошла моя память назад, закрутилась, как в кино. С чего началось, как случилось, что вся моя жизнь пошла наперекосяк? И кто виноват?

Партийное строительство

Чистка еще более закаляет и мобилизует массы для борьбы за генеральную линию партии. Выводы проверочных комиссий необходимо осуществить в каждой ячейке.

Правда, 2 января 1930 г.

Покончим с кулаком навсегда

Открылся съезд групп бедноты. Саратов.

Конференция батрацко-бедняцких групп Немреспублики. Против эмиграционной политики кулаков. Покровск.

Расстрел кулаков-вредителей. Казань. 16 января. (РОСТА). Приведен в исполнение приговор над крупными кулаками-вредителями Буинского кантона братьями Шариповыми...

Правда, 17 января 1930 г.

Капитализм вступил в четверую голодную зиму

Капиталистическое производство неуклонно падает. Безработица, нужда, нищета, голод миллионов рабочих и крестьян непрерывно растут.

Самая тяжелая зима XX века.

Правда, 2 января 1933 г.

Прикрепление хлебных карточек

Для улучшения порядка продажи хлеба президиум Моссовета решил провести прикрепление всех хлебных карточек к определенным магазинам. Прикрепление к магазинам будет производиться по выбору самого покупателя и продлится с 3 по 15 января.

Правда, 2 января 1933 г.

Снабжение

* 10 марта начинается продажа хозяйственного мыла. Мыло отпускается по нормальным ценам с отметкой на мартовских продкарточках первой серии, по коммерческим ценам – с отметкой на продкарточках всех остальных серий.

* По распоряжению горснаба магазины и палатки Мосторга, Мостропа и Аптекоуправления начали свободную торговлю туалетным мылом.

* С 13 марта начинается продажа населению сахара по талону №1 мартовских продкарточек всех серий. Талоны действительны до 25 марта включительно.

Правда, 11 марта, 1933 г.

Очистим ряды большевистской партии от всех ненадежных, неустойчивых, примазавшихся элементов!

Правда, 24 мая 1933 г.

РОДИТЕЛИ

Осознал я себя уже в детском доме, с него и начинаются у меня связные воспоминания, хотя память у меня отличная и помню я все иногда даже чересчур подробно. Просто, вероятно, слишком мал был. Но есть у меня какие-то, я бы сказал, до-воспоминания, которые в моем сознании связаны с родителями. О них и говорить почти невозможно. Это не мысли, даже не чувства — наверное, самые первые ощущения, которые я уже потом, лет девяти-десяти вспомнил и начал осмысливать.

Вот первая картинка. Темная ночь, идет дождь, и мы едем верхом на лошадях. И ощущение тревоги, которое мне очень передается, хотя у меня нет еще ни осознанного представления об окружающем, ни даже слов. Я и до сих пор удивляюсь, как, минуя слова, я все понимаю и чувствую. Только потом я осознал, что сидел на руках у отца. Я и теперь не представляю, кто он был и что такое происходило тогда, но тревога людей, с которыми мы вместе ехали, мне передалась. Не знаю, в чем заключалась опасность, но точно чувствую, что мы куда-то от кого-то убегаем... Когда эти воспоминания (или до-воспоминания, ощущения — назовите, как хотите) во мне прояснились, и память начала мне все это раскручивать, я вдруг понял, что дело происходило в горах. Видно, во мне засел настоящий горный пейзаж: с одной стороны горы, с другой — ущелья. Я на лошади вместе с отцом и отцовские руки. В России такие горы есть, мне кажется, в Крыму, на Кавказе да в Средней Азии... Вот и все, что я помню об отце. Как его арестовали, мне не запомнилось, а может быть, это было и не при мне — не знаю.

Мать я помню яснее. Второе из самых ярких моих воспоминаний: я иду, держась за руку женщины, которая и есть моя мать. Мы в большом городе; большая широкая улица и огромные витрины магазинов в первых этажах. Это я уже потом понял, что это были витрины. А тогда меня поразили и они, и вообще движение и шум большого города. Я после почему-то решил, что это был Ленинград, и когда уже после

лагеря был там, все надеялся узнать хоть что-нибудь — но, конечно, напрасно. Думаю, мне тогда было не больше трех-четырех лет. И еще зримо помню такую картину. Какая-то комната. Мы сидим вечером вдвоем с матерью, и она на столе под висящей лампой чистит свой пистолет. Конечно, пистолет не мог не запомниться, а теперь я думаю, что, наверное, она была из партийных функционеров, раз у нее было оружие. Я помню, как мать со мной разговаривала. А из ее внешности — что у нее была такая же "шапка" черных волос, как потом у меня, и что от нее всегда пахло хорошими духами. Мне кажется, что она была очень молодой.

Арест матери тоже выпадает из моей памяти. Вероятно, у ребенка срабатывает какая-то защитная реакция, когда совершаются такие события. Но вот как странно — я помню, будто у меня была маленькая сестра, еще меньше меня; помню, как мы с ней возились. А потом она умерла, еще до детского дома. И ее хоронили. Я запомнил маленький гробик и дорогу на кладбище, больше ничего. И почему-то твердо знаю, что это была девочка, сестра...

Вот и все, что я могу сказать о своей семье. Почему я уверен, что моих родителей арестовали? Ну, мир не без добрых людей, расскажут. В самом первом из моих детских домов (мне было лет пять) я то ли подрался с кем-то, то ли обидел какую-то девочку. Подошла нянечка и с такой злобой мне сказала:

— У, гаденыш! Такой же точно, как твои родители — враги народа! Надо бы и тебя, как их, расстрелять.

Я маленький был, ничего не понял, конечно, но где-то в памяти это засело и потом всплыло. Надо сказать, что "убить" у русских — расхожее слово, им часто просто так бросаются. Чуть что: "я бы его убил", "убить его мало!" Так что, может, мое детское сознание поразило непривычное слово — расстрелять, потому и запомнилось. И еще. В сорок первом году, перед тем, как выпустить меня из детского дома, со мной разговаривала заведующая Мария Николаевна Угольникова. Она сказала мне тогда, что я не должен стыдиться своих родителей, того, что их у меня нет.

— У тебя были родители, и они тебя не бросили, Миша. Они были хорошими людьми.

А надо сказать, что я почти всю жизнь стыдился того, что я детдомовский, безродный, вроде бы подкидыш какой-то. И даже эти слова Марии Николаевны не помогли, я продолжал стыдиться и скрывать, что я из детского дома.

— Сейчас ты, может быть, ничего не понимаешь, — продолжала она, — но когда станешь взрослым, поймешь, что они хорошие люди и пострадали не за злое дело.

Тогда же она сказала мне, что моего отца нет в живых, а мать я еще, может быть, когда-нибудь встречу. Спустя много лет я понял, что моих родителей арестовали примерно в тридцать втором — тридцать третьем годах, еще до убийства Кирова. Потому что в детский дом я попал летом тридцать третьего года. А когда расстреляли отца, и что стало с матерью — и предположить не могу. Теперь только удивляюсь, как это Марья Николаевна не побоялась сказать, что они были хорошими людьми.

Нет, не нашел я свою мать, и никогда ничего про нее не узнал, хотя и пытался. Но почему-то, слушая "Комсомольскую богиню" и "Не клонись-ка ты, головушка" Булата Окуджавы, всегда думаю, что это про нее, и не могу удержаться от слез...

Будьте готовы продолжать великое дело Ленина – Сталина!

Оля Балыкина – пионерка села Отрады Спасского района (Татреспублика) разоблачила расхитителей колхозного урожая, в числе которых был отец Оли. Центральное бюро пионеров постановило премировать Олю пионерским костюмом и отряд колхоза "Отрада" 500 рублями на оборудование клуба.

Правда, 14 мая 1934 г.

ДЕТСКИЙ ДОМ

Откуда я знаю, в каком году попал в детский дом? Все — случай. Когда Мария Николаевна пригласила меня к себе в кабинет для разговора (когда она сказала мне о родителях), и мы сидели за ее столом, ее вдруг кто-то позвал, и она на минутку вышла. Я остался один за ее столом, а передо мной — мое "личное дело". А "личное дело" заведено на каждого советского человека и сопровождает его всю жизнь, только мало кому удается в свое "дело" заглянуть. Ну, любопытно же... Я раскрыл его и на первой странице увидел небольшую бумажку со штампом в углу: "ГПУ Московской области" (или "губернии" — не помню и не знаю, как тогда называлось). Там было написано, что "к вам направляется ребенок Николаев Миша в возрасте 4-ех лет". И какая-то подпись: секретарь не то ГПУ, не то ОГПУ. А на штампе дата: 1933 год. Это я все хорошо запомнил, ведь это был мой первый в жизни документ. Из него я понял, что я родился в 1929 году.

Я часто думаю: сколько людей принимало участие в том, чтобы обездолить таких детей, как я! Я уж не говорю о тех, кто приходил арестовывать родителей. Но ведь кто-то взял меня, куда-то отвез; кто-то решил, в какой город и в какой детский дом меня отправить; какой-то секретарь — скорее всего женщина, сама мать — выписывал это направление и ставил свою неразборчивую подпись. Делая это каждый день, должны они были что-то думать, как-то объяснять себе это массовое сиротство, находить оправдание и своему участию в этом деле. Впрочем, оправдание себе каждый человек находит легко и просто...

А сиротство действительно было массовое. Возьмите Покров, куда меня привезли и где я жил в детских домах до самого начала войны. Это очень маленький городок в сотне километров от Москвы, до революции уездный, в мое время — районный. Тогда в нем было всего пять тысяч жителей. И пять детских домов. Они делились по возрастному принципу, и я успел побывать в трех: №1, №3 и №4. Детдо-

мовских ребят учили только в семилетке; на такой возраст и были рассчитаны детские дома в Покрове: от 3-4 до 14-15 лет. В тех детских домах, в которых я жил, было в общей сложности человек около 400. Было еще два детских дома, №2 и №5, которые, как я теперь понимаю, никак не соприкасались с нашими. Ни от нас к ним, ни от них к нам никого не переводили; они не ходили в городские школы — может быть, у них была своя школа? — эти дома были окружены высокими заборами, и ребят оттуда не выпускали в город. Какие ребята там жили? И сколько их было? На один крошечный Покров было около 600-700 детдомовцев. А сколько таких городков по России? Потом я узнал, что в наших детских домах — где я жил — все мы были детьми арестованных родителей, врагов народа. Во всяком случае, подавляющее большинство.

В наших детских домах никогда не упоминалось о родителях — вообще ничего. И никогда не случалось, чтобы у кого-то нашлись родственники или кто-нибудь приехал проведать. Все мы были жертвами репрессий; иначе невозможно вообразить, отчего без чумы и без войны враз полностью осиротело столько детей. Известно, что детей врагов народа часто не разрешали взять даже близким родственникам, скрывали их от родственников. Смысл был в том, чтобы они никого не знали и их никто не знал, чтобы они забыли о прошлом.

Была у нас знакомая, Нонна, ее родителей арестовали, когда ей было пять лет. У нее были родственники, которые хотели взять ее к себе. А ее забрали, отвезли в детский дом — и концы в воду; она же маленькая, не может дать о себе знать. Ее дядя несколько лет разыскивал по детским домам и нашел только потому, что ей не сменили фамилию. Но ее ему не отдали. Он ее больше не упускал из виду, и все время хлопотал, и получил ее только года 4 спустя. Какая-то была история, чуть ли он ее не выкрал из детского дома. А у меня, может быть, никого не осталось из родных на воле, а может, были какие-нибудь родственники, но у меня не осталось ни фамилии, ни отчества — как найдешь? Практика была такая: чтобы исключить у ребенка любую возможность воспоминаний, ему давали другую фамилию. Имя, скорее всего, оставляли, ребенок, хоть и маленький, но к имени уже привык, а фамилию давали другую. Мне и Н.Я. Мандельштам говорила об этом, она однажды целый месяц проработала в таком детском доме, пока начальство не спохватилось,

что она и сама ”нежелательный элемент”, и не выгнало ее с работы. Михаил Николаев — это больше похоже на псевдоним или партийную кличку, чем на обычную фамилию. Прожив жизнь, я так и не знаю, чью фамилию носил.

Главная цель у власти, забиравшей детей арестованных, заключалалсь в том, чтобы они вообще ничего не знали о родителях и не думали о них. Чтобы, не дай Бог, не выросли из них потенциальные противники власти, мстители за смерть родителей. Вот для этого хорошо было маленькому ребенку сменить фамилию. И я уверен, что власть достигла своей цели, потому что большинство, если не все дети, ничего не знали о своих родителях и очень скоро забывали о них.

В Президиуме ЦИК СССР.
Пенсии работникам детских домов.

Учитывая особые условия работы педагогического состава детдомов, Президиум ЦИК постановил дополнить постановление ЦИК и СНК СССР от 3 июля 1929 г. о пенсионном обеспечении работников просвещения за выслугу лет последующим примечанием: ”При исчислении срока службы, дающего право на пенсию, каждый год работы в детском доме в качестве педагогического работника приравнивается к двум годам”. (ТАСС)

Правда, 20 мая 1933 г.

ПОБЕГ

Начал я сознательную жизнь с побега — как будто это мне было на роду написано. Очень хорошо помню, как меня привезли в Покров в детский дом №1 дошкольного воспитания. Дело было летом, и со станции мы ехали на лошади, то ли на телеге, то ли в повозке. Вез меня милиционер. Я запомнил его потому, что у него на боку был пистолет в кобуре — мальчишке это всегда интересно, оружие всегда привлекает его внимание. Так и осталась у меня эта длинная — четыре километра — дорога от станции, а рядом со мною милиционер с пистолетом.

Привез он меня, сдал заведующей вместе с моим "личным делом", получил расписку и уехал. А мне стало так неуютно в этом доме, просто тоска охватила. Ведь мне всего четыре года, и я впервые попал в "казенный дом" — да так большую половину жизни по казенным домам и провел. Видно, я почувствовал бесприютность детского дома и своей в нем будущей жизни; вдруг маленьким сердцем ощутил свое сиротство. Потом это чувство притупилось и как-то стерлось, потому что вокруг были такие же обездоленные ребята, как я сам, но в первый день оно было, наверное, очень острым.

И вот поздно вечером, когда нас уложили спать, может быть, даже ночью, я сбежал. Никаких подробностей не помню, знаю, что выбрался из дому, нашел дырку в заборе и побежал в сторону станции. Дорогу я запомнил, детский дом стоял прямо на ней, никуда сворачивать не надо было. Думаю, что я и до железнодорожной станции не смог добраться, на другое же утро меня поймали и вернули обратно. И опять меня привез милиционер — уже другой — и сдал детдомовскому начальству. Так я поселился в детском доме и стал равноправным детдомовцем.

ДО ШКОЛЫ

С тех пор началась моя "обобществленная" жизнь. Мой первый детский дом я вспоминаю в розовых тонах. Мне было хорошо там. Это был двухэтажный деревянный дом, очень хороший; наверное, прежде он принадлежал какому-нибудь купцу или городскому дворянину. При доме был большой фруктовый сад: яблони, крыжовник, смородина... Сад квадратом замыкала липовая аллея. Мы играли там и зимой, и летом — там всегда было хорошо. Я постепенно привык к этому дому и не чувствовал никакой ущербности от своего пребывания здесь. В таком раннем детстве, вероятно, любой ребенок недолгое время тужит об исчезнувших родителях; сам возраст благотворно залечивает раны, которые наносит малышу судьба. Поэтому, верно, и я очень быстро приспособился к новым условиям. Я был несмышленыш, потеря родителей для меня ничего не представляла — их вымело из моей головы, я даже не помнил их потом.

Хоть это странно, но я как сейчас помню, как в один из зимних праздников нам устроили такое вроде бы театральное представление: пограничники и диверсанты. Конечно, нам и в голову не могло придти, что вся страна увлечена этой "игрой" — пограничники и диверсанты, враги народа и замечательные чекисты, что, может быть, в этой "игре" исчезли наши родители. Не нашего ума это было дело. Нам просто с младенчества прививали идею, что весь мир делится на своих и чужих, красных и белых, пограничников и диверсантов. Вот мы и играли в то, как советский пограничник задерживает вражеского диверсанта. Я отчетливо помню всю игру, кроме одного: кем же я был в ней — пограничником или диверсантом? В том возрасте даже это не имело значения, просто была увлекательная игра: поиски, разведка, преследование, наконец, поимка шпиона... Нет, сейчас мне кажется, что я тогда играл нарушителя границы. Разве мы могли предположить тогда, что эта игра затянется на всю жизнь? Ну, конечно, играли мы и в другие игры, в челюскинцев, например, когда весь мир волновался за судьбу "Челюскина" и челюскинцев.

Воспитательницы в этом доме были добрые и хорошие. Это были местные жительницы, а ведь Покров — маленький уездный городок со своим особым, патриархальным укладом. Я еще помню ночных сторожей, ходивших по улицам с колотушками и оберегавших сон горожан. Проснешься случайно ночью и слышишь далекий или близкий стук колотушки. И так тебе делается уютно... И водовоза я помню. До самой войны в своей огромной бочке развозил он по домам воду — никакого водопровода еще не было. В Покрове жизнь текла тихо и размеренно, здесь все друг друга и все про всех знали, это был весьма замкнутый мирок. И события внешнего мира, когда они доходили до жителей Покрова, преломлялись сквозь эту патриархальную замкнутость. Я бы сказал, что в таком городе как Покров — потом для меня это повторилось в Тарусе и Боровске, таких же заштатных районных городишках — жизнь гораздо более человечная, чем в столицах и индустриальных центрах. Потом я много наслышался про московский Даниловский детприемник, который хуже любой тюрьмы — у нас ничего похожего не было. Наши воспитательницы относились к нам как к обездоленным детям, а не как к детям врагов народа. Я уверен, они нас просто жалели. Помню, одна из них, тетя Лиза принимала во мне участие. Иногда она гладила меня по голове, и мне казалось, что она меня любит. Бывало, она приляжет ко мне на кровать, а ведь ребенку так важно почувствовать тепло материнского тела. У нее была дочка примерно моего возраста, она иногда приходила с матерью на дежурство — может быть, тетя Лиза подкармливала ее в детском доме.

Я думаю, что женщины, работавшие у нас, старались сделать все, чтобы нам было хорошо. А тот инцидент с нянечкой, которая накричала на меня, что вот, мол, надо и тебя, как твоего отца, случился, по-моему, вскоре после убийства Кирова. Тогда вся страна была газетами возбуждена и по поводу убийства, и по поводу начавшихся вслед за ним репрессий. Это я и почувствовал на себе. Убийца Кирова был по фамилии Николаев, и моя фамилия тоже Николаев. Может, именно это и имела в виду нянечка, говоря: надо и тебя, как твоего отца, расстрелять. Вроде бы я, по ее понятию, сын того самого Николаева. Но для меня это был, конечно, пустой звук, я этого ничего еще не знал. Я не думаю, что мог бы быть сыном того Николаева. Просто однофами-

лец, скорее всего, мне случайно "подарили" такую же фамилию. Это чуть ли не единственный выпад против меня, который я запомнил. Больше ничего такого не случалось, и в основном жилось нам неплохо, и никакого комплекса неполноценности из-за отсутствия родителей у меня тогда не было. Я был счастлив в то время.

Такая жизнь продолжалась три года, это было похоже на обычный детский сад, только мы никогда не уходили домой. А в 1936 году мне исполнилось семь лет, и я должен был пойти в школу. По правилам меня переводили в другой детский дом, следующий по возрасту, уже школьный. Всех, кто поступил в первый класс, перевели осенью тридцать шестого года в детский дом №3, тут же, в Покрове. Эта дата оказалась очень важной для меня впоследствии.

Закрылся У1 Пленум ЦК МОПР

Вчера закончил свою работу продолжавшийся пять дней У1 пленум ЦК МОПР.

В работе пленума принял участие секретарь Исполкома Коминтерна тов. Вильгельм Пик, выступивший на пленуме с яркой речью.

По докладу тов. Стасовой об очередных задачах МОПР Советского Союза высказалось 46 человек из 56 записавшихся.

Главное внимание в прениях уделялось вопросам повышения бдительности и перестройки работы. Целый ряд ораторов останавливался на недостатках в работе ЦК МОПР, его отделов и отдельных работников. Отмечалась необходимость усиления интернационально-воспитательной работы, более широкого ознакомления трудящихся масс СССР с революционной борьбой народных масс за рубежом. До последнего времени, как указывали в прениях, главное внимание сосредоточивалось на сборах денежных средств в ущерб агитационной работе. Этим крупнейшим недостатком страдают почти все местные мопровские организации... (ТАСС)

Правда, 26 июня 1937 г.

Я НАУЧИЛСЯ ПЛАВАТЬ

Плавать я научился еще в первом детском доме. Надо сказать, что Покров был в то время городком очень красивым, зеленым и очень богатым водой. Вокруг было две речки и три озера. И нас — спасибо воспитателям! — летом часто водили купаться.

Километрах в двух от города было два прекрасных озера со странными названиями: Мужское и Женское. Они находились на расстоянии примерно километра друг от друга, и было принято, что мужчины ходили купаться на Мужское, а женщины — на Женское. По-видимому, это велось издавна по причине целомудрия наших горожан. И нас, детей, водили раздельно: девочек на Женское, мальчиков — на Мужское. Чуть дальше было еще Белое озеро, не знаю, кто там купался, мы туда не ходили. На Белом озере когда-то был монастырь, в котором теперь, я слышал, тюрьма для проституток.

Но плавать я научился не на озере, а на нашей крохотной речке Шитке. Это почти ручеек, как говорится, курица вброд перейдет. И вот как-то нас повели туда купаться, мне было года 4 или 5. Конечно, никто не учил меня плавать, я даже не понимал, как это делается. Видел — люди плавают, и решил сам попробовать. Я даже не боялся, просто не понимал, что нужно или можно бояться. Как только я решил поплыть, я начал тонуть. Это впечатление я до сих пор помню. Когда я пошел ко дну, я не закрыл глаза и вдруг увидел под водой на берегу корни — видно, я тонул у самого берега. И корни эти были какие-то неприятные, белые. Все происходило, как во сне. Я начал отчаянно барахтаться и выплыл. Никто даже не заметил, что я тонул. С тех пор я и стал плавать.

И много раз потом я тонул в жизни и каким-то чудом сам выплывал.

О перегрузке школьников и пионеров общественно-политическими заданиями

Постановление Центрального Комитета ВКП (б)

В ряде школ и пионерорганизаций имеет место совершенно недопустимая перегрузка детей "проработкой" решений ХУ11 съезда партии, вопросов марксистско-ленинской теории и политики партии.

Детей 8-12 лет в школе и пионерорганизации заставляют отвечать на вопросы, совершенно недоступные их пониманию...

ЦК ВКП(б) постановляет:

3. В средней школе не допускать перегрузок детей общественно-политическими заданиями.

Правда, 24 апреля 1934 г.

В ШКОЛУ!

Огромной радостью и даже гордостью было стать школьником. Первая школа — одно из самых ярких воспоминаний того времени. Школа помещалась в старом доме в самом центре города напротив парка, где стоял собор, а рядом — памятник Ленину. Теперь собора давно нет, и старого Покрова почти не осталось, а Ленин все стоит...

Многие учителя в нашей школе были еще со старых времен, с нормальными представлениями о добре и зле, поэтому и отношения в школе были не казенными, а человеческими. И я полюбил свою школу.

День первого сентября в городке всегда был большим праздником, в котором и мы, детдомовские, принимали участие. Во-первых, это начало учебного года, которое по всей России празднично отмечается. А кроме того, в этот день справляли еще и МЮД — Международный Юношеский День. Почему он оказался большим событием для Покрова? Да

просто потому, что повседневная провинциальная жизнь бедна событиями и развлечениями, и все — ребята и взрослые — рады принять участие в любом празднике. Сейчас это может показаться смешным — какое дело нашему городку до Коммуны в Париже? — но и день Парижской Коммуны, 18 марта, отмечался в Покрове как большой праздник, благо он был тогда нерабочим днем... Но самым важным для Покрова был день 14 октября — по церковному календарю Покров Пресвятой Богородицы, наш престольный праздник. И церковь, и собор были, конечно, закрыты, не знаю, куда ездили молиться верующие. Но в городе был настоящий праздник. В домах пекли пироги, жители наряжались и ходили друг к другу в гости. На пустыре устраивалась ярмарка. Там торговали всякими вкусными вещами и ярмарочными забавами: "уди-уди", набитыми опилками яркими мячиками на резинках, трещотками. На это мы могли только смотреть и завидовать — у нас ведь не было денег...

Зато первого сентября для нас получился двойной праздник. Утром радостный идешь в школу, а потом ждешь-не дождешься "послеобеда" , когда поведут на площадь. Как стемнеет, взрослые парни и девушки ходят по улицам с зажженными факелами, поют, на площади устраиваются танцы и игры. Весь город охвачен праздником, всем весело и радостно. МЮД каким-то образом увязывался с МОПРом, и во время гулянья ходили сборщики и собирали деньги на МОПР. О МОПРе я узнал, как только начал интенсивно читать: в "Пионерской правде" много писалось о том, как на западе рабочие томятся в тюрьмах и как мы должны им всячески помогать. Сами-то мы жили в раю.

Учился я с самого начала хорошо, даже очень хорошо. Ученье давалось мне легко, хотя во время уроков я пристрастился читать под партой посторонние книги. Читать я научился рано, лет пяти, сам, никто меня не учил. Кто-то из воспитательниц показал мне буквы, а уж я своим умом дошел, как сложить из них слова. Ко второму классу я стал заядлым читателем. Чтение оказалось моей главной любовью, главным учителем и главной радостью в жизни. Никто никогда моим чтением не руководил, я читал все, что под руку попадется, что дадут в библиотеке, и вообще все, что мог достать. Вот и во время уроков скучно было слушать, что говорит учительница или тем более отвечает кто-нибудь из учеников — я и читаю очередную книгу, положив ее под партой на колени.

В начальной школе с первого по четвертый класс у нас была одна учительница по всем предметам, Анна Павловна. Не знаю, любила ли она меня, но она меня явно привечала. И учился я хорошо, всегда все знал и не озорничал, хлопот ей было со мной немного. Отплатил же я ей черной неблагодарностью. Однажды, кажется, уже в третьем классе случилось у нас такое происшествие. Кто-то из мальчишек воткнул перо в парту и начал его тихонько дергать. Оно дренькало и мешало вести урок. Это, кстати, было одно из рядовых "развлечений" на уроках. Но я не был виноват, я такими делами не занимался, единственное мое прегрешение на уроках было чтение книг. Но оно ведь никому не мешало, а сам я всегда все знал. И вдруг Анна Павловна обращается прямо ко мне:

— Миша, выйди из класса!

Она же знала меня, должна была понимать, что я на такое не способен — и обвиняет меня! Это было совершенно несправедливо. А у нас в классе была девочка Ира Ермакова, не детдомовская, а из города, я тогда питал к ней нежные чувства. И я решил, что учительница позорит меня в глазах Иры. Я разозлился — я вообще был очень злой. Встал, "набычился" и говорю:

— Я этого не делал, не пойду!

— Нет, это ты, — настаивает Анна Павловна. — Сейчас же выйди из класса!

И когда она ко мне подошла, взяла меня за плечо и потянула, я укусил ее за палец...

Проводили мы в школе примерно половину дня; первоклассники чуть поменьше, старшие — до обеда. Учились вместе — и детдомовские, и городские ребята, никто не делал между нами никакого различия. На этом уровне все мы были равны. Правда, запомнилась вот какая деталь, тогда это нас, детдомовских, сильно задевало. На большой перемене городские ребята завтракали, ели кому что дадут из дому. А мы старались на них не смотреть, потому что нам ничего не давали, и между завтраком и обедом нам часто хотелось есть.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ

В детский дом №3 нас перевели уже осенью, после того, как мы пошли в первый класс. Вместе с началом школьной жизни это было для всех большим событием. Мы становились взрослее, ведь в этом доме жили только школьники с первого по четвертый класс, ребята лет от семи-восьми до двенадцати.

Дом этот стоял почти в центре Покрова, на самом шоссе Москва — Горький, и даже в этом была для меня своя прелесть: из окон открывалась другая жизнь. Хотя за ворота нас не выпускали без воспитателя или без особого разрешения, из окон мы подолгу глядели на улицу и, увидев там знакомых, переговаривались с ними. Это было и развлечение и отчасти узнавание жизни, вообще-то для детдомовца очень ограниченной. А когда начали реконструировать и асфальтировать дорогу между Москвой и Горьким (до этого она была грунтовая) — сколько было радости! Для всего города это было событием, а уж для мальчишек — огромным: в городе появились новые люди, техника — катки, трактора, еще какие-то машины. Все это нас страшно возбуждало и вдохновляло, и мы, ребята из детского дома №3, чувствовали, что нам повезло: дорогу прокладывали прямо перед нашими окнами, и мы, поскорее отделавшись от домашних уроков, забирались на подоконники и наблюдали за этим великим строительством. Нам это не надоедало.

Дом был настоящий купеческий, в два этажа, каменный; с толстыми стенами и небольшими окнами в первом этаже, где у купца, вероятно, была лавка или магазин. У нас же там были расположены кухня, столовая, комнаты для приготовления уроков и проведения свободного времени. Спальни наши были во втором этаже, там и потолки и окна были выше. В каждой спальне помещалось 15-18-20 человек; в одних — мальчики, в других — девочки. У каждого воспитанника был свой номер, у меня был номер двадцать девять. Он висел на моей кровати, был написан на шкафчике, где лежали мои вещи, им было помечено мое белье, вообще все мои вещи. Вероятно, такой же номер был на моем личном

деле, куда заносились записи обо мне — о характере, поведении, успехах. Так я с самого начала был "пронумерован".

При третьем детском доме был большой, но совершенно пустой двор; ни сада, никакой вообще зелени в нем не было. Я как будто переехал из деревни в город и сразу это ощутил как нечто неприятное. И еще одно различие почувствовалось сразу — здесь было значительно больше детей, чем в первом детдоме, человек, может быть, 120 или 150, а число воспитателей примерно такое же. Считалось, что здесь ребята уже большие и требуют меньше ухода. И конечно, отношения между воспитателями и воспитанниками перестали быть "домашними", стали гораздо более казенными. В первом доме к нам относились теплее и сердечнее, неслучайно я не помню ни одной воспитательницы из третьего дома. В то же время взрослые имели меньше возможности приглядывать за каждым из нас, и это создавало ощущение некоторой большей вольности. Но с другой стороны — такое количество воспитанников не оставляло никакой возможности побыть одному, хотя потребность в этом с годами увеличивалась.

К слову сказать, не знаю почему, но я всегда был какимто замкнутым и трудно входил в контакт с другими ребятами. Не знаю, чем это объяснить, но это так. Сколько я себя помню, я все время хотел остаться один и читать. Конечно, я, как и другие мальчишки, гонял мяч, играл в лапту или в городки. Такого разнообразия игр, как теперь, у нас и в помине не было. Самыми распространенными были городки и лапта, теперь, кажется, совсем забытые. Вот и я играл в эти игры с другими ребятами, и лазил по деревьям, и падал с деревьев, — один раз так, что долго пролежал без сознания; и ходил купаться — все это было. Но эта обычная мальчишеская жизнь не захватывала меня целиком, может быть, потому, что я был не особенно ловким и в играх не отличался. Но стоило мне найти укромное местечко и усесться с книжкой, как появлялся кто-нибудь из ребят, и начиналось: что ты читаешь? почему ты читаешь? неужели тебе интересно? Я отвечу на все эти вопросы, тогда обязательно следует предложение: пойдем лучше играть! Но для меня-то это вовсе не лучше, я говорю:

— Да не хочу я играть!

— Как это не хочешь? Да как можно не хотеть? Идем, там мальчишки в футбол гоняют, как раз одного игрока нам не хватает...

И так каждый раз. Должен сказать, что в дальнейшей своей жизни я убедился, что у простого русского человека (не знаю, как у других народов) совсем нет потребности быть одному. Я уж не говорю о том, что в деревенском или городском частном доме в России все внутренние перегородки не доходят до потолка, а вместо дверей в лучшем случае повешены занавески — это связано с тем, что обычно печка стоит посреди дома и должна отапливать его весь. Но и теперь, в тех домах, где хозяева устроили себе центральное отопление — топят котел где-нибудь в подвале или пристройке, а в комнатах висят радиаторы, — все остается по-прежнему. Мы спросили у одной своей боровской подруги — простой женщины, неглупой и более развитой, чем многие окружающие — почему она не навесит двери в комнатах своей очень маленькой квартирки? Жила она с мужем и двумя дочерьми-десятиклассницами, к тому же занимавшимися аккордеоном. Она посмотрела на нас с искренним удивлением: а зачем? Мы даже не нашлись, что возразить. Не нужны людям двери, не нужно никакого уединения — и все тут.

Мне же уединения не хватало с детства. И, думаю, не мне одному; возможно, и у других детдомовцев была тяга к уединению, хоть некоторому. Вот она и заставляла нас, мальчишек, идти на какие-то совершенно, как сейчас кажется, неестественные поступки. Одним из любимых занятий было устраивать себе "дом" в кровати. Привяжешь концы одеяла к спинкам кровати — получается крыша. С боков занавесишься простынями — и ты в собственном доме, лежишь, мечтаешь о чем-нибудь, никто тебя не видит. А однажды летом была у нас эпидемия копать пещеры — благо, двор большой, пустой, места много. Каждый вырывал себе яму — не ямку, а именно яму, чтобы можно было там в полный рост спрятаться. Каждый рыл сам для себя, тут никто ни с кем не объединялся. Выроешь эту яму, дно выстелешь травой, потом ищешь каких-нибудь старых досок, чтобы сделать крышу, а сверху забрасываешь землей и прикрываешь травой. В каждой пещере потайной вход и выход. Конечно, это была игра, но имела она и глубинные корни: так проявлялась подсознательная потребность спрятаться, уединиться, чтобы побыть одному. Таким образом, на детдомовском дворе построился целый поселок под землей, с проходами, выходами, ходами сообщения. И каждую свободную минуту мы рвались к своим пещерам, побыть там. Длилось это примерно месяц или около двух. А в одно прекрасное

утро прибегаем и видим, что все разрушено, ничего не осталось от наших пещер. Это детдомовское начальство, боясь, что все эти сооружения могут завалиться и кого-нибудь засыпать или покалечить, а им потом придется отвечать, велело все это разрушить. И разрушили. Так кончилась наша ”пещерная” эпопея. Мне же невозможность побыть одному казалась просто жестокостью.

О награждении и льготах для строителей канала Москва – Волга
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР

В связи с окончанием в установленный правительством срок строительства канала Москва – Волга и передачей его в эксплоатацию, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров СССР постановляют:

1. Предложить Наркомвнуделу СССР наградить ценными подарками и денежными премиями отличившихся на строительстве вольнонаемных работников.

2. Установить для строителей канала Москва – Волга специальный нагрудный знак.

3. Предложить Наркомвнуделу СССР представить в ЦИК СССР списки бывших заключенных, добровольно оставшихся для работы на канале по вольному найму, особо отличившихся на строительстве канала Москва – Волга.

4. Досрочно освободить за ударную работу на строительстве канала Москва – Волга 55.000 заключенных.

Обязать ВЦСПС принять меры к скорейшему их устройству на работу.

5. Предложить Наркомвнуделу СССР при освобождении заключенных за ударную работу на строительстве канала Москва – Волга выдавать им, кроме специальных удостоверений, свидетельствующих об их работе на канале Москва – Волга, также проездные билеты и денежные награды в размере от 100 до 500 рублей.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В. Молотов.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль, 14 июля 1937 г.

Правда, 15 июля 1937 г.

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Распорядок дня в "детском учреждении" установлен раз навсегда, и какие бы то ни было отклонения от него — событие чрезвычайное. В детском доме была одна главная заповедь: никто не имеет права без воспитателя или без специального разрешения выходить за ворота. И всегда только группой. Весь наш большой двор был огорожен забором, а у ворот сидел сторож, и мимо него не проскочишь. Бывали, конечно, исключительные случаи, когда он сам попросит когонибудь из ребят принести ему чекушку водки. Даст денег и попросит сбегать в пивнушку, чтобы самому не отлучаться с поста. Ну, тогда бежишь счастливый, как будто в другую жизнь попал, и деньги у тебя в руке, и в пивной ты никогда сроду еще не был, только видел ее издали, и вроде бы выполняешь ответственное поручение. Но такие случаи нечасто подворачивались. Вот я и думаю: как это я почти всю жизнь умудрился прожить под охраной: и в детских домах, и в армии — всегда у казармы часовой и без увольнительной не выйдешь, и в лагере...

Подъем был в 7 часов утра. Быстро бежишь на зарядку, сейчас уже не помню, десяти- или пятнадцатиминутную. Зарядка в нашей стране обязательна для всех мест и всех возрастов, где люди существуют коллективно: в детском саду, в детском доме, в пионерском лагере, в исправительно-трудовом лагере, в казарме, в санатории и доме отдыха... Все граждане от трех до семидесяти лет обязаны по утрам делать физзарядку. Для чего — это уже другое дело. В конце концов даже анекдот такой сочинили. Лектор читает лекцию о физической культуре. После лекции вопрос: а зачем нужна зарядка? Ответ: чтобы умереть здоровым...

После зарядки — умывание, уборка постелей. Постель надо было стелить по строго установленной норме: одеяло сложено и натянуто определенным образом, простыня уложена так-то, подушка взбита и положена так-то. Дежурные все это проверяли, и всегда проводилось соревнование на лучшую заправку постелей, на лучшую уборку комнат. В этом доме мы уже перешли на самообслуживание, считалось,

что мы достаточно взрослые, чтобы самим убирать, мыть полы, перетряхивать матрацы. Никаких уборщиц у нас не было.

После этого шли завтракать, часов в 8 утра. На завтрак полагался кусок булки с маслом и стакан чаю — и до обеда, который был около двух часов — все. Есть норма, кто-то где-то подсчитал, что ребенку этого должно быть достаточно. Порядок был строгий: пришел на завтрак — должен все съесть. Между завтраком и обедом никто тебе ничего не даст, даже если ты и не поел за завтраком — ну, мало ли, может, у тебя живот или голова болели и не было аппетита. Голодать мы не голодали — этого не было, но есть хотелось часто.

После завтрака те, кто был в первой смене — а школа работала в две смены, — строились парами и во главе с воспитателями шли в школу, пара за парой. Школа была недалеко, минут пять-семь ходу. После уроков за нами опять приходил воспитатель, и мы, пара за парой, шли домой. Всюду мы должны были ходить в строю, был настрой полувоенной организации, и все ребята были разбиты на отряды.

Приходишь из школы, скоро обед. И на обед надо было идти отрядом. Допустим, если опаздываешь на обед, не приходишь вместе со всеми... — это вообще было невозможно, чтобы кто-нибудь опоздал на обед, но я исхитрялся... Так вот, если приходишь не со всеми, а позже, тебя лишают обеда. Там строго было по части дисциплины. Обед из трех блюд. Суп какой-нибудь; на второе гуляш или что-то мясное или рыба с картошкой, кашей или вермишелью. И компот или кисель. Порции, конечно, ограниченные, добавки почти никогда не давали, редкий случай, если дадут. А ведь мы и росли, и бегали, нам, мальчишкам особенно, часто не хватало. После обеда — так называемый "мертвый час", все спят. Кто не спит — притворяется. Как встаешь — полдник, чай. Тут давали кусочек сыра с чаем или кофе, и почему-то у нас была такая мода: сыр бросить в стакан и потом есть его горячим и расплавленным. Иногда давали какавелу — нечто вроде заменителя какао — это казалось счастьем. Хотя, когда я однажды у кого-то из своих городских приятелей попробовал настоящее какао, какавела сильно упала в моих глазах.

Потом все сообща в больших комнатах делают уроки, это часа полтора. А когда уроки сделаны, у каждого было немного свободного времени: кто читает, кто играет, кто так болтается, без дела, скучает. Я или читал или бегал в столяр-

ную мастерскую. В нашем детдоме был свой столяр дядя Миша: всяких поделок и ремонта было много. И у него была столярная мастерская, куда многие любили забегать. А он курил махорку, свертывал из газеты козью ножку и курил. И махорка у него была замечательная, а может, это мне тогда так казалось. Во всяком случае, с того времени, с третьего детского дома, я и начал курить; лет десять мне было, когда дядя Миша меня научил.

Часов в восемь все шли на ужин. И в девять — отбой, все ложатся спать. И так каждый день, из месяца в месяц, из года в год.

Веселая детвора

Привычное, обыкновенное кончается тут же у входа, как только контролер проверит пригласительный билет, на котором написано:

"Приходи к нам на новогоднюю елку в Колонный зал Дома союзов 1 января 1937 года – Московский областной совет профессиональных союзов..."

Ярким светом хрустальных люстр, разноцветных флажков и фонариков наполнено фойе Колонного зала. Сотни ребят из детских домов Москвы собрались сюда на свой радостный новогодний праздник. У них разбегаются глаза. С чего начать?..

Много развлечений впереди. В одном из уголков фойе уже появилась няня Пушкина – Арина Родионовна. Сейчас она будет рассказывать сказки детворе. А в другом зале зазвенел пискливый голосок "петрушки". И, покрывая веселый шум и смех, оттуда, где стоит разукрашенная елка, доносится хоровая песня:

– О детстве счастливом, что дали нам,
Веселая песня, звени!
Спасибо великому Сталину
За наши счастливые дни!

М. Львов

Правда, 2 января 1937 г.

БАНЯ

Баня была приятным событием и даже большим развлечением для всех детдомовцев. Раз в 10 дней всех нас водили в городскую баню. Мальчиков отдельно, девочек отдельно. Баня в Покрове была одна на весь город и работала всего два дня в неделю. Надо сказать, что в те времена в Советском Союзе была не нормальная семидневная неделя, как принято, от понедельника до понедельника или от воскресенья до воскресенья, а пятидневка. Не считаясь с днями недели, предприятия и школы работали пять дней, а шестой был выходной. Это было здорово неудобно для всех. Так вот, раз в две пятидневки, обязательно в выходной день, мы отправлялись в баню. Идти было довольно далеко, минут пятнадцать. И вот идешь через весь город и видишь его жизнь, в корне отличную от жизни детского дома. Можно было увидеть много нового и интересного. Ведь в школу-то мы ходили в будние дни, а здесь — выходной. И на улицах оживленнее, и кто-то идет на базар или с базара, кто-то просто стоит на углу и разговаривает, кто-то, уже нарядный, отправился в гости. Все это мне было очень интересно. И хоть шли мы, как всегда, строем и с воспитателем, можно было, увидев знакомых городских ребят, перекинуться с ними несколькими фразами. Короче говоря, мы очень любили банные дни.

Ведь и в самой бане тоже все необычно. В школе ты каждый день, и в школе тоже свой установленный порядок. А в бане ты же голый, и уже нет никакого порядка, крик, шум, и что там творится, представить себе трудно. В бане у меня было какое-то чувство свободы. Ну, а мылись мы, собственно говоря, очень просто. Каждому давали мочалку и маленький кусочек мыла. Брал я шайку — это таз такой железный с двумя ручками, наливал горячей и холодной воды и мылся как мог. Правда, первоклассников еще мыли воспитатели, а уж постарше — мы сами. И, как взрослые, терли друг другу спины.

ЛИНЕЙКА

Летние месяцы вносили некоторое разнообразие в нашу жизнь. Во-первых, не было занятий в школе. Но еще до того, как они кончались, начинался пионерский сезон и продолжался все время, пока стояла хорошая погода. Перед началом этого сезона мы готовили пионерскую площадку на нашем дворе. Большой честью считалось, если тебе доверили красить мачту — почему-то у нас ее меняли ежегодно. Красили ее по спирали в красный и белый цвета, нам казалось это необыкновенно красивым. Вокруг мачты подновляли трибуну, и во всех этих делах дядя Миша был первым человеком, а мы вокруг него крутились, стараясь помогать. Приводились в порядок и посыпались песком пионерские дорожки — каре перед трибуной, где выстраивались наши отряды.

Когда все было готово, пионерский сезон открывался. Это значило, что по утрам, между зарядкой и завтраком, мы выстраивались "на линейку". Отряды строились каждый на своей дорожке, на трибуне стояли старший пионервожатый и дежурный воспитатель, а в особых случаях — сам директор детского дома. Каждое утро флаг по мачте подымался вверх, горнист трубил в горн, мы, кто уже был пионером, отдавали салют. Старший пионервожатый говорил:

— Пионеры, к борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!

И мы отвечали хором:

— Всегда готовы!

Так тебя как бы заряжали с утра, с самого начала дня твой дух как бы поднимали. После этого "всегда готов!" старший пионервожатый или дежурный воспитатель задавали программу на день: кто что должен делать, какой отряд на кухне, какой на уборке, кто едет в колхоз. И разбирали все случаи нарушения, как они считали, распорядка дня или ночи. Например: "Миша Николаев из пятой спальни (или из второго отряда) ночью долго не спал, шумел, сдергивал с товарищей одеяла, не давал им заснуть..." Все подобные случаи подробно разбирались, чтобы все прочувствовали

и поняли, какой нехороший мальчик Миша Николаев. Он не просто нарушает дисциплину в спальне, но и весь порядок нашей жизни и играет на руку тем дурным людям, которые мешают нам построить самое счастливое общество на земле.

Быть названным на линейке считалось большой неприятностью и грозило серьезным наказанием. То, что у родителей было бы простой шалостью и вызвало бы материнский укор, а может быть, поцелуй или шлепок, в детском доме оказывалось проступком, под который непременно подводилась политическая подкладка. Все это вполне серьезно внушалось таким клопам, каким я тогда был, изо дня в день. И безусловно, это в нас влезало, и мы начинали видеть мир сквозь эти фразы.

Любовь к родине

Ленинград, 3 июня. (По телеф. от соб. корр.). Дружно начал подписку на новый заем коллектив прядильно-ниточного комбината им. С.М. Кирова. Старая текстильщица Анна Большакова, зарабатывающая 600 рублей в месяц, подписалась на 800 рублей. Взяв подписной лист, она обошла работниц своего комплекта, которые тотчас подписались на месячный заработок. Вручая заполненный подписной лист секретарю цеховой партийной организации, т. Большакова сказала:

— Всех нас объединяет одно чувство — это любовь к нашей родине. Подписываясь на заем, мы еще более укрепляем нашу оборонную мощь.

К 5 часам вечера на заем успели подписаться 60 проц. всех работающих на комбинате. Они дали взаймы государству 62,4 проц. месячного фонда заработной платы...

Известия, 4 июня 1941 г.

КОЛЛЕКТИВ

Постепенно я становился волчонком, готовым в любую минуту огрызнуться, защититься, напасть самому. Процесс это долгий, но неуклонный. Коллектив? Дружба, товарищество, братство, о которых твердят у нас на всех перекрестках? Не знаю, не заметил. Мы были больше похожи на стайки волчат, сбившиеся на время для какого-нибудь дела, большей частью дурного. То, что мы лазали по всем окрестным садам и огородам, нами и за грех не считалось: мы хотели есть, у нас не было ничего своего, так что вроде бы сам Бог велел воровать. И не попадаться, а то плохо будет. Это вроде "экспроприации", только мы тогда такого еще не понимали и слова этого, конечно, не слышали. Это было одно из самых безобидных наших дел, оно даже создавало как бы ощущение товарищества, общей опасности. И тут я был активным участником. Но были дела и гораздо хуже. Мне кажется, как во всяком коллективе, обособленном от нормальной жизни, и у нас были свои уродства. В любом таком коллективе существуют свои законы и порядки. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне это кажется почти смешным, но в те времена было отнюдь не смешно.

Мальчишки всегда тяготеют к сильной личности. Это правда. И вот из их среды выделяется кто-нибудь сильный и начинает ими верховодить. Совсем необязательно, чтобы он был физически сильнее всех или умнее. Но, может быть, он чуть постарше остальных и поопытнее, и он получает власть над ними. А мальчишки — народ злой и жестокий, но в то же время — доверчивый. И если среди них окажется главарь с уже испорченной психикой, если он знает, чего хочет, это ужасно влияет на всех остальных. Им начинает казаться, что и они хотят того же, что и их вожак, и они оказываются в полной его власти. Как раз такой был у нас в детском доме №3. Я совершенно забыл, как его звали, но помню его кличку: Гитлер. Это в тридцать седьмом году, до всякой войны у него была кличка Гитлер. Над мальчиками он имел власть громадную. Я сейчас даже не могу понять почему; вероятно, при стечении каких-то обстоятельств он проявил

себя сильным, смелым, находчивым; может быть, выручил их из беды. И вот мальчишки ему безоговорочно верили и безропотно подчинялись. Получилось, что он как бы организовал шайку, которая терроризировала всех остальных ребят в детском доме, заставляла их за себя и на себя все делать, держала всех в страхе. Этот Гитлер был знаменит тем, что заставлял мальчишек есть говно. Так он показывал свою власть — как она широко и глубоко простирается. На примере нашего Гитлера я увидел, что в любом "коллективе" есть верховоды, что на самом деле коллектив — это масса, сборище, толпа, которая должна кому-то подчиняться. Но я от всяких таких компаний стремился уклониться, я был очень неловок физически, меня нисколько не тянуло к их развлечениям. Я всегда искал случая уединиться. Правда, это далеко не всегда удавалось.

Возможно, только на собственной шкуре чувствуешь противоестественность коллективной жизни для ребенка. Этот коллектив или общество в 100-150 человек, которые все время на виду друг у друга. Все время: и день, и ночь, и зиму, и лето, недели, месяцы, годы — все время видишь друг друга, не имеешь возможности скрыться от других. Ты непрерывно на виду: на виду у своих товарищей, у воспитателей. К тому же тебя все время организуют. Строем идешь в школу, там тебе четыре часа говорят о счастье, о том, как ты хорошо живешь... Возвращаешься строем в детский дом, садишься за уроки — опять все сообща, все вместе, под присмотром воспитателя. Но ведь и у маленького человека, у ребенка есть потребности подумать о мире, об окружающем. Это естественно и необходимо, но возможности такой почти не представлялось.

Уровень жизни в детском доме для всех одинаковый, если не считать мелких поблажек, которые перепадают от воспитателей или обслуги на кухне. Я имею в виду уровень школы и детского дома — все получают одинаково. Но дети-то от рождения разные, аппарат генов у каждого особенный и именно он тянет одного делать одно, а другого — другое. А возможности такой нет совершенно. Ты должен делать все, как все, ты должен быть, как все. Непохожих не любят, их всегда преследуют. Та же самая Нонна, о которой я уже упоминал, рассказывала, что когда арестовали ее родителей и ее увели из дома, у нее на голове был завязан огромный красивый бант. С ним она и попала в дет-

ский дом. Ей было пять лет, и для нее этот бант был как память о доме, как сам дом. Она им страшно дорожила, дрожала, как бы он не потерялся, и все время просила воспитательниц завязывать ей его в волосах. И представьте себе, все девчонки невзлюбили ее за этот бант, просто возненавидели. Вероятно, кто из зависти, кто от тоски по своим бантам и домам, которых у них давно не стало. Спроси у них — они не смогут ответить, за что они все время обижали девочку с бантом. И только когда бант в конце концов исчез, и она стала, как все, девчонки с Нонной подружились, и она вошла в детдомовский коллектив.

В этом и есть жестокость жизни в коллективе — в том, что тебя заставляют быть, как все, и делать все вместе со всеми, а не то и не так, как ты сам хочешь и можешь. И постепенно это начинает тебя угнетать. В то время я об этом не думал, не мог сообразить, только после все это на мне отразилось. А в те годы я гордился, что живу в стране, которая лучше всех в мире, в которой произошла революция и дала всему народу счастье. И за счастье почитал жить в коллективе.

На новые земли

Партия и правительство приняли историческое решение о переселении некоторой части колхозников из малоземельных районов в многоземельные. Советский Союз исключительно богат земельными просторами. Как говорил тов. Сталин еще в 1929 г., "свободных земель было и осталось в СССР десятки миллионов гектаров. Но обработать их своими жалкими орудиями крестьянин не имел никакой возможности"...

Фонды целинных земель, используемых под сельское хозяйство в дерново-подзолистой зоне Сибири, Урала и Дальнего Востока, исчисляются десятками миллионов гектаров. В обширной Омской области более или менее заселена только небольшая южная полоса, примыкающая к Сибирской магистрали...

В пределах Красноярского края насчитывается свыше 5 миллионов плодородных целинных земель, заросших кустарником и мелколесьем...

Большими возможностями для приема переселенцев обладают Читинская область и Бурят-Монгольская АССР, особенно в связи с постройкой Байкало-Амурской магистрали...

Удастся ли справиться с такой задачей? Конечно, но лишь при проведении определенных организационных мероприятий. Главным из них безусловно является переселение. Орудовавшие на Дальнем Востоке, ныне разоблаченные, враги народа создавали для приезжавших колхозников ненормальные условия, в результате часть колхозников даже возвращалась обратно. В настоящее время в Сибири, на Дальнем Востоке да и всюду в других местах переселенцев окружают отеческой заботой...

М. Павловский

Известия, 22 июня 1939 г.

ДРУГОЙ ВАРИАНТ

Мой американский друг говорит, что в Америке тоже сиротам или детям, от которых отказались родители, дают фамилию приемных родителей, чтобы ребенок забыл о прошлом, приспособился и был счастлив в новой семье. Но это совсем не "то же", в Америке ведь нет детских домов, а ребенку, оставшемуся без родителей, ищут другую семью. Семью... Это совсем другой вариант. Так бывало и в "проклятой царской" России.

Была у нас в Боровске соседка, глубокая старуха — баба Таня. Жила она с внучкой, которая к двадцати трем годам родила пятерых детей и заботиться о них предоставила бедной полуслепой бабе Тане. И та заботилась, как могла, любила их и жалела.

И вот однажды она рассказала нам свою историю, чтобы объяснить, почему она так жалеет своих правнуков. Оказывается, сама она росла без родителей, а была воспитанницей из воспитательного дома — так это тогда называлось. По-деревенски это звучит очень смешно: "шпитонок" или "шпитонка". Мы с женой, когда впервые услышали эти слова, даже не могли понять, о чем речь. Пришлось бабе Тане объяснять:

— Ну, шпитонка я, шпитонка — из шпитательного дома!

Попала она в приют еще до рождения. Мать ее шестнадцатилетней девушкой "пригуляла" ребенка и пришла в специальный дом в Москве за какое-то время до родов. Мы про такие дома и не слыхивали, нас почти убедили, что до революции ничего подобного быть не могло, что все началось только после революции. В этом приюте девушки рожали и, оправившись после родов, уходили на все четыре стороны. А ребенка оставляли. Но в воспитательном доме детей не держали, их устраивали по деревням. Если у какой-нибудь деревенской женщины умирал младенец, или молока было так много, что она могла выкормить двоих, или она была готова выкармливать ребенка из соски, — пожалуйста. Государство платило приемной матери за каждого воспитанника — по тем временам, говорила баба Таня, деньги были немалые. Давали

младенцу одеяльце и все приданое, а когда подрастал, то и одежду. Был специальный чиновник, который ездил по деревням, проверял, как живут воспитанники, хорошо ли с ними обращаются...

Так попала баба Таня в крестьянскую семью, которая стала ей родной. Жила она в доме наравне с родными детьми, с детства приучалась к работе по дому, к хозяйству, к уходу за скотиной. Ее не обижали и не баловали — все, как с остальными детьми. Но государство не оставляло забот о воспитанниках; приходило время и их определяли учиться — в деревне это было большой редкостью.

— Я — ученая! — с гордостью повторяла баба Таня. — Я шесть лет ученая!

Подросших воспитанников по их желанию обучали какому-нибудь ремеслу или рукоделию. Девочек часто устраивали горничными или нянями в хорошие дома, а кто хотел, мог остаться в деревне. Баба Таня со своей приемной семьей была свзяна дружбой и любовью всю жизнь; названную свою сестру считала "как родную"; любили и помогали они друг другу больше, чем часто бывает у родных братьев и сестер.

И все же родную мать свою, которую она никогда не видала и о которой не знала ничего, даже имени, баба Таня вспоминала часто. И всегда с ожесточением.

— Я бы ей глаза выцарапала, если б встретила!

Глядя на крохотную, сгорбленную старушонку с почти слепыми глазами, добрейшим лицом и огромными тяжелыми от работы руками, жена моя буквально поперхнулась от изумления:

— За что же, баба Таня? Ведь у вас все-таки детство было неплохое... И вообще та семья — как родные...

— Не было у меня ро́дной мамушки, — ответила баба Таня другим голосом и словами, как из старой сказки. — Никто никогда не поцеловал меня жалостливо, никто по головушке не погладил...

Я с ней согласен и все-таки я ей завидую: она выросла в семье.

Открылся Центральный Музей Каторги и Ссылки

В массивной двери — откидное окошечко для подачи пищи. Над ним — маленький "глазок", сквозь который царские тюремщики наблюдали за заключенными. Внутри — полная обстановка одиночной камеры: узенькая железная кровать, столик, параша...

А вот другая комната — копия знаменитого шлиссельбургского "бастиона". Вместо двери — толстые железные прутья. В таких клетках заключенные все время были на виду у своих тюремщиков. Открывшийся в Москве в Лопухинском переулке Центральный музей каторги и ссылки дает яркую картину того, как царизм боролся с революцией.

На фоне царских тюрем и централок музей вкратце рассказывает историю революционного движения в России, начиная с крестьянских восстаний Разина и Пугачева и кончая 1917 годом, когда волею восставшего народа раскрылись двери тюрем, а революционные борцы получили свободу...

Несколько комнат музея посвящено ссылке: якутской, иркутской, енисейской... Здесь на стендах размещены портреты вождей революции: отважных борцов за социализм... Ленин и Сталин, Свердлов и Дзержинский, Молотов, Фрунзе, Ворошилов, Орджоникидзе.

Последняя комната — апофеоз победоносного социалистического Октября и строительства бесклассового социалистического общества.

Правда, 12 февраля 1934 г.

ВОСПИТАНИЕ

Однако, в мое время сирот стало так много, а крестьянство было так разорено и разрушено, что вариант бабы Тани был практически неосуществим: крестьяне и своих-то детей не могли спасти от голода. Да государство и не было заинтересовано в нашем устройстве в семьях. Я думаю, оно проводило над нами огромный эксперимент по выращиванию человека советского будущего. В детском доме были идеальные условия для этого.

Почему? Да потому что семья, какая бы она ни была, даже дурная, сознательно или бессознательно влияет на ребенка и одновременно ограждает его от влияний, которые чужды ей самой. В каждой семье существует свой микроклимат, связанный с отношениями между родителями, с естественной привязанностью ребенка к родителям, с разговорами дома. Мир, окружающий ребенка в семье, гораздо шире нашего детдомовского мира. Лишенные естественных связей и привязанностей в мире, мы были как бы большим белым листом, на котором можно было писать: человек социализма. Микроклимат у нас был постоянный и единственный — советский.

Вот простой пример. Придет ли в голову отцу или матери повести ребенка на экскурсию в тюрьму? Разве только какому-нибудь надзирателю из прилагерного поселка, но там микроклимат совсем особенный — лагерный... А нас водили. Я был, кажется, во втором классе, когда нас повели на экскурсию в Покровскую тюрьму. Она и до революции там была, и теперь стоит. Привели нас к какой-то стене, впустили в какую-то дверь, и мы увидели там... цветники. Представляете? На дворе конец тридцать шестого или начало тридцать седьмого года, а нам показывают в тюрьме цветники. Водили нас и в камеры — пустые, как в музее. Ну, а что детям? Помню, мне очень интересно было: издали видим — сидят какие-то люди, что-то делают. Говорят — заключенные... Я даже представить себе не могу, зачем нас туда повели. Жена говорит: чтобы показать тебе твою будущую жизнь.

Но это неправда, в таких хороших тюрьмах я никогда не сидел... По ходу экскурсии нам объясняли: видите, дети, советская власть не наказывает преступников, она их перевоспитывает... Для этого, вероятно, и водили. Я и потом точно эти же слова постоянно слышал, даже когда меня к расстрелу приговорили, но заменили двадцатью пятью годами. Тоже "перевоспитывали", хотя все преступление было в том, что поймали меня на границе, когда я пытался бежать из Советского Союза.

Главная идея, которую нам всеми способами внушали, заключалась в том, что советская власть — самая лучшая и справедливая на свете. Ну, в этом нет ничего особенного; любая власть считает себя прекрасной и никогда не скажет, что она жестока или несправедлива. Так я и думал долгие годы: советская власть — самая лучшая, советский человек — самый прекрасный, мы — самые счастливые дети на земле. Я отлично помню, с каким энтузиазмом читал на школьном утреннике стихотворение Лебедева-Кумача:

Разносятся песни все шире
И слава гремит в вышине
О нашей единственной в мире
Великой советской стране.

По полюсу гордо шагает,
Меняет движения рек,
Высокие горы сдвигает
Советский простой человек.

И я с гордостью чувствовал, что и сам выросту таким "советским простым человеком", и был совершенно счастлив. А как же иначе? Никто из нас не знал другой жизни. А нам с раннего детства повторяли: вы — самые счастливые дети в мире, никто, ни один ребенок на свете, не живет так счастливо, как вы. И никто, когда вырастет, не будет так счастлив, как мы, потому что мы окружены заботой и лаской нашего любимого вождя товарища Сталина. Нас учат, кормят, одевают, обувают — все потому, что нас очень любит советская власть и товарищ Сталин лично. И мы за все должны благодарить нашего любимого вождя. "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!" — это было как молитва для нас. У нас создавалось представление, что, если бы не советская власть и не великий Сталин, мы, оставшись без

родителей — а нам ведь не объясняли, почему мы остались без родителей — мы бы вообще пропали. Живи мы в любой другой стране, мы бы пропали со свету, погибли от голода и холода. Только благодаря тому, что мы живем здесь, мы живы и так счастливы. А в капиталистических странах дети погибают, потому что с шести-семи лет им приходится идти работать на заводы и фабрики — их труд очень дешевый и они работают, пока не умирают от непосильного труда и голода... И мы, конечно, верили всему этому. Мы узнавали жизнь, учились думать и чувствовать — или наоборот, ни о чем не задумываться, а все принимать на веру — в детском доме. И все нравственные понятия мы получали из рук советской власти.

Есть у нас подруга, мать и тетка которой тоже выросли в детском доме. Они лет на десять-пятнадцать старше меня и попали туда в начале двадцатых годов, потому что их родители умерли в деревне от голода. И вот, прожив уже довольно долгую жизнь, многое пережив и повидав, они так и остались в убеждении, что всем обязаны советской власти, что не будь ее, они обязательно умерли бы от голода, не увидели бы никакого просвета в жизни и не получили бы образования. "Нам все дала советская власть" — вероятно, они так и умрут в этой уверенности. И почему-то им не приходит в голову, что, не будь советской власти, их родители не умерли бы с голоду в деревне, а сами они выросли бы в нормальной деревенской семье, а не в детском доме. Мне кажется, большинство детдомовцев так и осталось в конце концов при этих понятиях — а как же иначе? То, что в тебя вдолбили в детстве, нелегко потом выдавить из души, а нам в разных видах и по любым поводам внушали:

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Но и это еще не самое страшное зло. Гораздо страшнее и безнравственнее было то, что одновременно нам внушали: все вокруг враги, враги засылают к нам своих шпионов, чтобы подорвать и погубить нашу прекрасную страну. И мы всегда должны быть начеку. Враги, враги, враги, враги... На врага, против врагов, о врагах... Домашнему ребенку легче, у него полно родни; он знает: дядя Петя — мамин брат, он друг, и тетя Маша, папина сестра — друг, а уж бабушки-дедушки — лучше и добрее нет людей на свете. А у нас

кто был? Марьи Иванны да Иваны Петровичи, которые довольно часто меняются. Мы им, конечно, верим, как верят дети взрослым, а они-то нам и объясняют, что весь мир кишит врагами. И началось это очень рано, с самого поступления моего в детский дом. В нас воспитывали бдительность и недоверие ко всему на свете. Нам очень повезло, что мы родились в стране, где произошла революция, давшая всему народу счастье. Но надо быть всегда настороже, потому что враг не дремлет, он всеми способами хочет это счастье разрушить.

Так с раннего возраста советская власть формировала из нас людей, которые ей были нужны, которые пошли бы за ней без оглядки.

Пионеры охраняют урожай

Пятигорск. 16 июня. (Корр. "Правды"). В колхозах Солдатско-Александровской МТС (Сев. Кавказ) организовано 25 наблюдательных вышек для легких кавалеристов. На полях уже дежурят 19 пионерских звеньев. Пионеры Чарлыгин и Пискунов задержали колхозницу Дарью Протасову, которая нарезала на полях колхоза 13 килограммов колосьев ячменя. Протасова саботировала работу в колхозе и предпочла воровство честному труду.

Правда, 17 июня 1934 г.

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Мне было еще лет пять-шесть, я был в первом детском доме. Однажды посреди ночи и нашего глубокого сна вдруг раздается какой-то шум. Я просыпаюсь оттого, что в спальне, где я сплю вместе с другими мальчиками, происходит какое-то беспокойство. Здесь не только дежурный воспитатель, но и почему-то другие воспитатели, которые обычно ночуют по своим домам. Они чем-то взволнованы и будят тех, кто спит крепко, одновременно уговаривая:

— Дети, не беспокойтесь ни о чем...

Уже много лет спустя я, вспоминая эту ночь, сообразил: зачем же они нас будили? Если бы они нас не разбудили, мы бы проспали всю ночь, ничего не знали бы и ни о чем не беспокоились... Ну, а тогда я, конечно, принимал все, что происходило, за чистую монету и вел себя, как все. Странная ситуация: нас специально разбудили, чтобы сказать, чтобы мы ни о чем не беспокоились, хотя во дворе и по саду кто-то ходит. Можно себе представить, как все мы спросонок пугаемся, начинаем нервничать, и от одного к другому передается тревога и нервное возбуждение. Мы все испуганы, но помню, у меня было еще огромное любопытство: кто же там ходит? Начинаем прислушиваться — действительно, как будто слышим чьи-то шаги. А воспитатель говорит:

— Это, наверное, очень плохой человек, ведь он посмел разбудить детей! — Он не говорит нам, что разбудил-то нас он сам, и мы ему верим — нас разбудил кто-то, кто ходит во дворе! — Из-за этого человека, дети, мы все не спим, он специально нарушил наш покой...

Воспитатель ставит меня возле окна и приказывает время от времени кричать голосом как можно более взрослым и грубым "кто там?" И я старательно это делаю. Но за стеклом в темноте ночи никого и ничего не видно. Конечно, необходимо поймать этого человека, но мы слишком малы, чтобы вести нас ночью в сад, поэтому воспитатели разыгрывают сцену (это я теперь говорю "разыгрывают", а тогда я восхищался: вот какие они смелые!), будто один хочет

пойти во двор, и даже выходит на крыльцо. Он тут же возвращается и говорит другому воспитателю:

— Нет, лучше нам дождаться утра. Кто знает, что на уме у этого человека, может, он хочет сделать что-нибудь ужасное. Я не хочу оставлять тебя с детьми одного. Подождем до утра, а вы, дети, ложитесь спать...

Час-полтора длится вся эта суматоха, все ребята возбуждены, многие плачут... Потом все как-то успокаиваются, мы укладываемся, и я засыпаю, полный самых невероятных предположений.

Но на этом все не кончается. Утром, еще до завтрака, воспитатель берет мальчишек постарше, и мы идем искать:

— Пойдемте, ребята, все-таки посмотрим, что там было ночью?

— И мы — к своему ужасу и восторгу — находим какието следы, в глубине сада обрывки бинтов, клочки ваты: ага, вот тут он был, здесь он стоял, наверное, делал себе перевязку... Теперь мы окончательно уверены — к нам в сад забирался диверсант, может быть, скрывался от погони и был ранен, значит, весь наш ночной переполох был не зря. И я доволен собой: ведь я ночью не плакал, как другие, а стоял у окна и кричал грубым голосом. Может, он испугался как раз моего голоса и потому ушел из нашего сада.

Вот ведь путем каких простейших приемов — один воспитатель ходит по саду, другой в это время нас будит и создает ощущение тревоги — можно надолго поразить воображение ребенка. Такая ночная тревога остается в памяти на всю жизнь. И так начинается закладка советского человека: тревога, мы окружены врагами. А тут еще книжки про гражданскую войну, про революцию и подпольщиков, кинофильмы про пограничников и шпионов. Романтика границы, пограничной жизни буквально захватила наши мальчишечьи и девчоночьи души. Два фильма — "Ай-Гуль" и "Джульбарс" пользовались особенным успехом. Если бы можно было, мы бы ходили на них хоть каждый день. Еще бы! Ребята — совсем такие, как мы — жили в кино необыкновенной, полной опасностей и приключений жизнью, не то что наша скучная повседневность. Шаманы, басмачи (слова-то какие!), иностранная разведка — это тебе не надоевшее "покажи, хорошо ли ты вымыл руки" и "выучил ли ты уроки". И конечно, советские люди умнее, сильнее и храбрее всех, наши герои всегда побеждают... Кто из нас не мечтал сидеть в пограничном дозоре или хотя бы подержать на поводке знаме-

нитую собаку Джульбарс? Многие городские собаки после этого фильма стали Джульбарсами, а мы горевали, что граница так далеко от Покрова...

Большой спрос на брошюру Уранова

Ростов-на-Дону, 10 июня. (ТАСС). Ежеденевно в магазины Книгоцентра, Партиздата и библиотечные коллекторы Ростова со всех концов края поступают многочисленные требования на брошюру Уранова "О некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок". Полученные в крае около 20 тыс. экземпляров этой брошюры распроданы.

Краевое издательство "Большевик" перевело брошюру Уранова на армянский язык и направило ее в армянские национальные районы Азово-Черноморья.

На крупнейших предприятиях Ростова – "Ростсельмаше", Донской государственной табачной фабрике им. Розы Люксембург и др. – проходят читки брошюры.

Правда, 11 июня 1937 г.

ЛЮБОВЬ

Ну, а жизнь шла своим чередом, мы росли, у нас были свои дела, отношения, радости и заботы. Я уже говорил, что был довольно обособленным ребенком, меньше интересовался мальчишескими играми, чем чтением, и всегда больше любил общество девочек — с ними мне было и интереснее, и уютнее, и спокойнее.

Одно время я считал — это потому, что я так рано лишился матери и в своих сверстницах искал материнского тепла, но ведь и все детдомовские мальчишки росли без матерей, что не мешало им водить компанию друг с другом и делать вид, что девчонок они презирают. Я же и потом всегда предпочитал дружить с женщинами, и до сих пор убежден, что они не только душевнее и щедрее мужчин, но гораздо вернее их в любви, дружбе, во всех человеческих отношениях.

И влюбляться я начал тоже чуть ли не с пяти лет. Первая любовь моя была Лиза Беспалова — еще в первом детском доме, детсадовском, а потом и в школе. Про Иру Ермакову, в которую я влюбился в третьем классе, я упоминал. А были у нас в детском доме две сестры: Вера и Зина Монаховы, с которыми я очень дружил. Вера чуть постарше и покруглее, Зина — моя ровесница, худощавая и очень славная девочка. В нее я был влюблен. Было нам лет по восемь-девять. Как и все детдомовские ребята, я к этому возрасту был наслышан про разницу между мальчиками и девочками и про отношения между мужчинами и женщинами. Мальчишки очень этим интересовались и много говорили на такие темы. И я со всеми бегал подглядывать за девочками в девчоночью уборную. А лет в десять я очень внимательно прочел три тома "Мужчины и женщины". Но на моих отношениях с девочками все это никак не отражалось. Я их никогда не дразнил, не обижал. Мне кажется, что и девочки отличали меня от других ребят и охотно со мной водились.

С Зиной мы целовались... У нас в детском доме был большой зал, разделенный полуаркой. В первой половине стоял биллиард и другие игры, а за аркой — несколько столов

для приготовления уроков и бюст Ленина на фанерной тумбе, обтянутой красной тканью. Внутри тумба была пустая. Там было почти темно и очень уединенно и уютно. Мы были еще такими маленькими, что могли забираться туда вдвоем с Зиной, сидели там, скрывшись от всех, подолгу разговаривали о любви и целовались. Даже когда я "разлюбил" Зину, мы продолжали дружить с ней и Верой, говорили обо всем и всем делились — если кто-нибудь из нас раздобудет какой-нибудь еды. Помню, однажды мы втроем дежурили по столовой и я им сказал, что я их люблю и никогда не забуду. Буду помнить всю жизнь, что бы ни случилось. Они засмеялись, не поверили. А мы в это время разливали красный крахмальный кисель из бачка в чашки. И я сказал:

— Вот видите этот бачок? Сколько бы лет ни прошло, когда б мы ни увиделись, я сразу вспомню эту минуту и скажу вам — "бачок"!

Смешная клятва, правда? Но вот я действительно ее не забыл, хотя больше их никогда не встретил. После пятого класса их отправили в Орехово-Зуево на текстильную фабрику, и мы потеряли друг друга...

Разлюбил же я Зину из-за Тамары Синяковой, которая казалась мне самой красивой девочкой из всех. Это была несчастная любовь, потому что она не только не была в меня влюблена, но просто меня не замечала. Она была старше меня. К тому же она была у нас новенькой; это в наших детских домах было редкостью, да и вообще на новеньких всегда все обращают внимание. Мы все друг друга давно знали, и вдруг — новенькая и еще такая красивая! Многие тогда в нее влюбились. А я, чтобы посмотреть на нее украдкой, однажды во время мертвого часа поднялся по пожарной лестнице на второй этаж и по кронштейну подошел к окну, у которого спала Тамара. Мне было страшно идти по кронштейну. Но я увидел Тамару. Она спала, закинув руки за голову, и помню, как меня поразили и смутили волосики у нее под мышками.

Но больше всех девочек я в то время любил повариху тетю Шуру. Теперь-то я понимаю, что она была совсем молоденькая деревенская девушка, лет двадцати, не больше. Тогда же она казалась мне женщиной в возрасте. Может, она и сама натерпелась беды у себя в деревне, не знаю, только она меня очень жалела, с удовольствием меня подкармливала и иногда гладила по голове. И я платил ей нежной привязанностью.

Баскские дети приехали в Москву

Под сводами вокзала раздаются звонкие детские голоса:

– Вива Русиа!

– Вива Сталин!

– Салуд, камарадос!

Из окон вагонов выглядывают смуглые лица ребят. Сотни сжатых кулачков подняты вверх.

Когда специальный поезд, доставивший вчера утром из Ленинграда в Москву баскских детей, остановился у перрона, из вагонов грянул "Интернационал" на испанском языке.

Напротив вагонов с юными гостями Советского Союза стоит другой поезд. В нем – московские школьники, отправляющиеся в лагери. Они встречают зарубежных друзей приветственными возгласами...

Пионерки Арсенсион Рой и Кармен Урондо рассказывают нам об ужасах, которые они видели в дни бомбардировки Бильбао. На глазах девочек рушились дома, уничтожались целые кварталы, умирали близкие, родные. Голоса Арсенсион и Кармен дрожат от ненависти к фашистам, истребляющим прекрасную страну.

– Это наши враги, – говорят пионерки, – это ваши враги, это враги всего человечества...

А. Поневежский

Правда, 26 июня 1937 г.

ДРУЖБА

В третьем детском доме появился у меня и первый настоящий друг-мальчик. Звали его Коля Давыдкин. Он был старше меня года на три и учился в четвертом классе, когда я только пошел в школу. Старший товарищ — всегда большая радость и гордость для мальчишки, к тому же Коля очень тепло ко мне относился, а я был в него по-мальчишески влюблен, как бывает со старшими братьями или друзьями. Во всяком случае, это были первые дружеские отношения, которые я осознал.

Коля нисколько передо мной не задавался, не помыкал мною, как часто бывает в этом возрасте, и посвящал меня во все свои дела. У него был свой радиоприемник с наушниками — он сам смастерил его в школьном радиокружке. Тогда это было повальное увлечение по всей стране — радиолюбительство. Не только мальчишки, девчонки, подростки и молодежь, но и вполне взрослые и пожилые люди увлекались радиолюбительством, конструировали приемники, "ловили" что-то в эфире. Радио было еще новинкой, чудом и редкостью. Конечно, все детдомовцы стремились в кружки радиолюбителей или авиамоделистов, все мечтали стать радистами или летчиками. Три заветные мечты на будущее: пограничник, летчик, радист. Никто не мечтал стать рабочим или колхозником — это я хорошо помню.

Я ходил в авиамодельный кружок, строил модели планеров и самолетов. А Коля был радиолюбителем, сам построил из деталей радиоприемник и давал мне его послушать. Это было настоящее счастье! Ведь на весь детский дом было одно-единственное радио, "тарелка", висевшая на стене в красном уголке. Там мы все вместе слушали некоторые детские передачи, например, "Пионерскую зорьку", которая и тогда уже охмуряла детей. Теперь-то я уверен, что советские журналисты и детские писатели — главные отравители детского сознания. Но тогда, должен признаться, эти передачи производили на меня большое впечатление. Я же был самым обычным и самым настоящим советским ребенком.

Ну, а тут "у нас с Колей" — собственное радио, мы слушаем его, когда хотим, любые передачи. Помню, я был потрясен, когда в 36-ом году мы с Колей слушали речь Калинина — я на всю жизнь это запомнил. Не самую речь, конечно, а то, как мы с другом по собственному приемнику могли слушать одного из наших вождей...

С Колей я пробыл вместе недолго. Примерно через год, когда он перешел в пятый класс, его перевели в следующий детский дом — №4, и в другую школу. Тогда в Покрове только что построили первую школу-десятилетку, первое современное школьное здание. Там и начал учиться мой Коля. Но наша дружба не кончилась. Иногда я ходил к нему в четвертый детский дом, частенько он приходил ко мне и даже водил меня в свою школу. Поскольку он был нашим воспитанником, его все знали, и никто не препятствовал нашей дружбе. Изредка меня отпускали с ним как со старшим, а иногда мне удавалось прибежать встретить его у школы. Он рассказывал мне о новых предметах, которые они начали изучать в пятом классе: география, ботаника, история. Это звучало загадочно и заманчиво. Коля показывал мне и учебники. Помню, что время от времени учитель истории говорил им, что такой-то и такой-то военный или партийный деятель, чей портрет есть в учебнике, оказался врагом народа. Его портрет надо было зачеркнуть. Коля приносил учебник и предлагал:

— Давай замазывать портреты!

— А почему замазывать? — спрашиваю. — Зачем?

Он мне отвечает:

— Они — враги народа, в общем, плохие люди оказались...

Наверное, и для него, как для меня, это тогда был пустой звук — кто такой друг, кто такой враг народа. Но замазывать почему-то всегда было приятно, и мы это делали с удовольствием. Помню, я Ягоду замазывал...

Я мечтал тоже учиться в этой новой прекрасной школе и изучать все эти интересные предметы, о которых рассказывал Коля. Но судьба распорядилась иначе, я не попал в среднюю школу. Вообще на моей памяти Коля Давыдкин был единственным детдомовцем, которому дали возможность учиться в средней школе, а не отправили работать.

Были у меня и еще приятели, главным образом, из тех, кто тоже любил учиться, читать и был отличником. Помню Гришу со странной и неприятной фамилией Харкунов; он обладал большим чувством юмора и способностью

рассмешить любого, даже самого невеселого человека. С ним мы смеялись до слез. Однажды летом мы, человек десять мальчиков и девочек во главе с вожатым, пошли в дальний поход — на два дня на речку Киржач. Дошли туда к вечеру, усталые, голодные. Стали разводить костер — он не налаживается, потому что кругом только сырой тальник. С трудом развели костер, стали варить традиционную пшенную кашу — она, как водится, подгорела. А тут еще комары нас просто совсем заели, ведь у нас против них не было никаких средств, кроме дыма костра. Наконец, поели пригоревшей каши, попили чаю и забрались в палатку спать и спасаться от комаров. И тут Гришка начал нас так смешить, что невозможно было улежать на месте: то и дело кто-нибудь выкатывался из палатки, чтобы просмеяться на воле. А ведь он ничего особенного не говорил: скажет самое обычное слово, но так, что все покатываются со смеху.

Я эти наши походы до сих пор ощущаю как самые счастливые события своего детства.

Водил я дружбу и с некоторыми "городскими" ребятами, не детдомовцами, бывал и в гостях у них. Но об этом скажу в своем месте.

Общемосковское собрание советских писателей — товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Празднуя радостный день награждения советских писателей, мы отдаем себе отчет в том, как много с нас спросится, как много нужно еще сделать.

На протяжении всей своей истории человечество не знало такого государства, которое последовательно и неуклонно создавалось бы на основе науки и во главе которого стояли бы люди науки.

Такое государство теперь создано. Это — государство социализма, возникшее в гениальных умах людей науки — Маркса и Энгельса. Заложил фундамент такого государственного здания человек науки — Ленин. Возвел это государственное здание человек науки — Сталин.

В организме нашего государства нет такой частицы, которая не была бы проникнута светлой мыслью этих четырех людей — создателей нового человеческого общества...

Мы хотим, товарищ Сталин, чтобы каждая наша строка помогала делу, которому Вы посвятили свою жизнь, — делу коммунизма.

Президиум собрания: Алигер, Зайцев, Караваева, В. Катаев, Якуб Колас, Корнейчук, Янка Купала, Крапива, Лебедев-Кумач, Леонов, Лордкипанидзе, Маркиш, И. Новиков, Павленко, Твардовский, Толстой, Тренев, Фадеев, Ухолин.

Известия, 4 февраля 1939 г.

КНИГИ

Еще до того, как я научился читать, воспитательницы в первом детском доме читали нам вслух, и я уже тогда полюбил книги. Но странно — об этих чтениях я совсем ничего не помню. А вот содержание первых книг, которые прочел сам, запомнилось. Самая первая была, видимо, кого-то из русских классиков: о лошади, которая провалилась в болото, и как ее вытаскивали. Очень мне было жалко эту бедную лошадь. Вторая книжка была отрывком из какого-то романа Диккенса: мальчик идет через кладбище, на котором прячется бродяга, кажется, бежавший из тюрьмы...

Ну, а дальше пошло без передышки и все подряд. Во втором классе я был уже читателем всех покровских библиотек: детской, школьной и двух городских. Мало того, в нашем детском доме я вскоре стал библиотекарем и пробыл на этой "должности" чуть ли не целый год. Как я любил возиться с книгами! Для меня было праздником получать новые книги, первым брать их в руки, раскрывать, просматривать. Я научился составлять формуляры, выдавать книги, записывать читателей. Быть хозяином этого книжного мира — что могло быть лучше? С того времени и жила во мне уверенность, что лучшее место на земле — библиотека.

Чтение поглотило меня целиком; я читал всегда, везде, каждую свободную минуту. Бывало, особенно летом, когда рано светает, я просыпался ранним утром, часа за два до подъема и, спрятавшись с книгой под простыню, чтобы не заметил дежурный воспитатель, упивался событиями чужой жизни. Моя жизнь раскололась как бы на две несовместимые части: здесь, в школе и детском доме, повседневная, до мельчайших подробностей знакомая, надоевшая и скучная, и в книгах — необычайная во всем, даже если рассказывают о тонущей в болоте лошади... Могу сказать, что я не читал и даже не сопереживал героям книг; я просто погружался в другую жизнь, участвовал в ней, с каждой книгой жил в том, этой книги, мире. Книги затягивали меня в себя, как ту несчастную лошадь затянуло в болото.

Помню, как меня всегда тянуло к книге, и как я часто

оттягивал момент чтения. Не для того, чтобы продлить удовольствие от чтения — мне кажется, что это и не было в обычном смысле удовольствием — а как-то страшась этого погружения в чужую жизнь. Возможно, детскому сознанию не под силу было это раздвоение. Я был я — Миша Николаев, воспитанник покровского детского дома номер три, и одновременно я был Дон-Кихот Ламанчский месяц назад, Павлик Морозов на прошлой неделе и Пугачев сегодня.

Как видите, читал я все, что попадалось. Однажды заболела наша учительница Анна Павловна, и мы пошли ее проведать. Мы чинно сидели у нее, разговаривали, она разрешила нам посмотреть ее книги. На полу возле шкафа я увидел толстенную книгу без переплета и титульного листа. Я стал листать ее, она оказалась про что-то совсем мне незнакомое и непонятное, я попросил разрешения взять ее почитать.

— Что ты, Миша, — сказала Анна Павловна, — это же совсем неинтересная книга, тебе будет скучно...

Но я, конечно, уговорил ее и приволок книгу домой. Кажется, это была какая-то научная энциклопедия. Она жила в моей тумбочке долго и никогда мне не надоедала. Я читал ее то подряд, то отдельные разделы, и впервые познакомился с географией, историей, этнографией. Почему-то в книге было много о строительном деле, и с тех пор я все знаю о кессонных работах и многом другом. Мне совсем не было скучно, как боялась Анна Павловна, наоборот, эта анонимная и безымянная книга приоткрыла мне какие-то еще неизвестные миры.

Чтением моим некому было руководить, и, нахватавшись сразу всего понемногу, я оказался вдруг очень начитанным для своего возраста. Когда я впервые пришел в городскую библиотеку, библиотекарь пытался предложить мне несколько книг, видимо, исходя из моего возраста. Оказалось, что я все их уже прочел. После двух-трех таких безуспешных попыток он оставил меня в покое. Это были славные люди, жившие тут же в комнате при библиотеке — муж и жена. Теперь я думаю: не были ли они ссыльными? Покров ведь как раз на сто первом километре от Москвы. Иначе почему бы им жить при библиотеке? Поняв мою страсть к книгам, они предоставили мне полную свободу. Я мог сам выбирать себе книги на полках, рыться в старых журналах, сидеть в читальном зале. Однажды библиотекарь пытался отговорить меня от чтения Рабле, ему казалось — и я думаю, вполне справедливо, — что "Гаргантюа и Панта-

грюэль" не для второклассника. Но я, конечно, настоял на своем и унес огромный том с прекрасными картинками Доре. Мне очень понравилась эта книга, и самое смешное в том, что я был уверен, что абсолютно все в ней понимаю...

Конечно, я читал многое и из русской классики, но большей частью совсем не то, что другие ребята. Так, у Тургенева я любил не "Муму" и "Бежин луг", а "Асю" и "Первую любовь" — и тоже считал, что все понимаю. В 1937 году широко и торжественно отмечался юбилей Пушкина; наговорившись о его "сервилизме" и "дворянских взглядах", советская власть решила его признать. Мне повезло: к юбилею вышли "Сочинения" Пушкина в одном томе, и я надолго завладел ими. Стихи мне были трудны, стихи погружают читателя в мысли и чувства, а не в события, поэтому я сразу предпочел прозу Пушкина его стихам. Из "Повестей Белкина" "Метель" и "Гробовщик" показались мне самыми замечательными. Я упивался "Капитанской дочкой", которую с тех пор не раз перечитывал, находя в ней новые достоинства. "Сказки" я воспринял, как обычные сказки и остался к ним равнодушен. Примерно тогда же я умудрился прочесть все три тома "Сказок" Афанасьева, которые почему-то были в нашей детдомовской библиотеке. Теперь я понимаю, что это совсем не детское чтение, и попали они к нам, видимо, только из-за слова "Сказки"; скорее всего, никто из воспитателей их не прочел. Мне же они показались страшно скучными и однообразными, и я дочитал их только из упорства. Зато все ребята — и я в их числе — увлекались "Русланом и Людмилой". И все мы рисовали почему-то одну и ту же картинку: бой Руслана с Головой.

Странные, какие-то почти мистические отношения возникли у меня с неоконченной пушкинской "Сказкой о медведихе":

Как весенней теплою порою,
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу, из дремучего,
Выходила большая боярыня,
Чернобурая медведиха...

Почему-то при первом же чтении этой сказки на меня напал ужас, который возникал потом каждый раз, когда я о ней думал. Я по-настоящему боялся этой вещи, и тем не менее меня так и подмывало прочесть ее еще и еще раз. И всег-

да заранее замерев от страха, я неоднократно ее перечитывал. Я и теперь думаю о ней с каким-то странным чувством, но так и не могу себе объяснить, в чем тут дело.

Была одна попытка приучить меня к стихам, когда я был постарше и учился в пятом классе. К тому времени я был уже в другом детском доме, в четвертом. Молодая воспитательница, видя мой интерес к учебе и книгам, предложила учить меня английскому языку. Я с радостью согласился, и она пригласила меня к себе домой. Я был немножко влюблен в нее. Дом стоял в глубине сада, настоящий дом уездного учителя, полный уюта и книг. Она спросила меня, люблю ли я и знаю ли стихи. Я отмахнулся: а, Пушкин, Лермонтов — знаю. Некрасова я тогда терпеть не мог. Она стала говорить, что русская поэзия очень богата, что есть и другие поэты, называла имена Блока, Надсона, Северянина, Бальмонта... Помню, она даже дала мне какой-то сборник, где были стихи всех этих поэтов. Мне чуть-чуть понравился Бальмонт за его игру со звуками, но не настолько, чтобы заставить меня читать стихи. Я не дорос еще до поэзии, впрочем тогда я этого не сознавал, я считал себя вполне взрослым. Вскоре в одном из походов я понял, что эта воспитательница явно предпочитает мне учителя физкультуры, и совершенно в ней разочаровался. На этом кончилось и мое приобщение к поэзии и занятие английским, в котором мы ушли не далее "сидаун, плиз".

Я не хочу, чтобы у читателя создалось впечатление, будто я был каким-нибудь необыкновенным ребенком, с самых пеленок читал сплошь одну мировую классику и пренебрегал тем, что читали мои сверстники. Это не так. То, что читали другие ребята — а читателей среди детдомовцев было довольно много — чем они восхищались и о чем спорили, я тоже успевал прочитывать и с неменьшим подъемом, чем остальные. Не говоря уже о совсем детских Маршаке и Чуковском, вся тогдашняя советская литература читалась нами взхлеб. Именно мы были первыми читателями Николая Островского, Гайдара, Фадеева. Горевали, что опоздали родиться, революция и гражданская война обошлись без нас. Трудно сказать, кто привлекал меня больше: Дон-Кихот или Павка Корчагин, Нат Пинкертон, которого мне давал читать сын директора школы, или знаменитый пограничник Карацупа со своей не менее знаменитой собакой Ингусом, за подвигами которых на маньчжурской границе

мы, затаив дыхание, следили по "Пионерской правде". Я восхищался ими всеми. Ни сопоставлять, ни анализировать я тогда еще не умел, я не сравнивал этих героев друг с другом; два мира — "старый" и "наш" — жили во мне каждый сам по себе, не соприкасаясь.

Помню, как меня потряс рассказ о Павлике Морозове — он долгие годы был, да и сейчас остается официальным героем советских ребят. Кажется, я впервые услышал о нем на уроке, учительница вслух прочла нам какой-то очерк. "Вот это герой! — думал я. — Ради Революции (тогда она для меня звучала обязательно с большой буквы) пошел против родного отца, не пожалел даже и собственной жизни! Вот бы мне так!" Не знаю, как отнесся бы я к Павлику Морозову, если бы рос в семье, и у меня был бы отец. Может быть, я любил бы своего отца больше, чем революцию. А возможно — и нет, ведь восхищались же Павликом Морозовым мои приятели, у которых были отцы... Да и подражатели у него находились, мы читали о них все в той же "Пионерской правде". Обычно их награждали ценными подарками и денежными премиями. Часами, костюмами, деньгами платили за самое отвратительное из предательств. Но это я сейчас так думаю, а тогда я и сам мечтал о таком подвиге, горел желанием кого-нибудь разоблачить, поймать шпиона... Ну, и конечно, ни костюм или часы, ни денежная премия не были бы лишними...

Как литературный герой Павлик Морозов — самое безнравственное порождение советской литературы. Переступить через узы крови, донести на собственного отца — что может быть отвратительнее и страшнее? Но нас учили, что это подвиг, что в этом и заключается героизм, и мы верили безоговорочно. Так в нас воспитывали потенциальных предателей.

Прочитав в воспоминаниях Н. Мандельштам о формообразующем влиянии чтения на Мандельштама, я задумался: а что мне дало чтение? Как повлияло на мои взгляды, на мой характер? Имело ли влияние на мою судьбу? Раньше я об этом просто не думал. Теперь же понимаю, что имело, и самое решающее. Собственно, чтение и сформировало меня как личность, и определило все хорошее и все плохое, что было в моей жизни. Ну, во-первых, все, что я знаю, я знаю из книг. Сказав эту фразу, я сам засмеялся, потому что к ней необходимо добавить: кроме того, что я узнал из самой жизни — детских домов, ремесленных училищ, заво-

дов, армии, лагерей... Но все-таки мои умозрительные знания о мире — из книг, потому что учиться мне не пришлось, я успел кончить только пять классов.

Иногда мне кажется, что книги — это отрава. Они оторвали меня от моей реальной жизни, увели куда-то в сторону. Без книг я никогда не узнал бы, что бывает какая-то другая жизнь, не искал бы ничего другого; может, был бы доволен своей судьбой, тогда и сама жизнь сложилась бы по-другому. Во всяком случае, моя изуродованная жизнь казалась бы мне нормальной и не мучила бы меня, как сейчас мучает.

А в другие минуты я думаю: книги — единственный свет за долгие годы моей жизни. Только они были мне друзьями. Без книг я ничего не узнал бы о мире, а главное — никогда не научился бы думать. Без книг я так и остался бы овцой в огромном советском стаде, никогда не почувствовал бы себя мыслящим существом. Принесло ли мне это счастье? Смотря что понимать под этим словом. Думаю, и счастье, и горе — все принесли в мою жизнь книги. И знаю твердо — из-за книг люди не стали для меня абсолютным авторитетом, я никому из них не верил безусловно и все, что слышал от людей, сверял с книгами. Видимо, так я научился мыслить критически. И с этим же связана моя строптивость по отношению к любому начальству, так много вредившая мне в повседневной жизни.

Пионерка Вера Гайбут

Минск, 11 июля. (По телеф. от соб. корр.). Вера Гайбут весело шагала, напевая песню. Но скоро девочка перешла на шепот. В этих местах громко петь нельзя, — каждый посторонний звук может помешать пограничнику. Да и самой, мурлыкая песню, надо держать ухо востро. Это — граница.

Кругом трава краснела от земляники. Проворными пальцами Вера начала обрывать ягоды. В одном месте трава оказалась примятой. Здесь, видимо, недавно кто-то отдыхал. Оглянувшись, девочка увидела незнакомого человека, который наблюдал за нею. Незнакомец приблизился и, вынув из кармана плитку шоколада, предложил девочке. Ученица четвертого класса средней школы пионерка Вера Гайбут по наклейке узнала, что шоколад этот не советского производства.

— Да ты поешь, — предложил незнакомец.

— Нет, спасибо, я домой отнесу, — отвечала Вера и, зажав шоколад в руке, направилась домой.

Выйдя из леса на дорогу, девочка заметила, что незнакомец следует за ней. Так он дошел до самого ее дома. Он вошел даже и в дом и, убедившись, что там никого нет, устало присел к столу.

Скоро незнакомец задремал. Тогда Вера на цыпочках выбралась в сени и осторожно снаружи закрыла дверь на задвижку.

Полкилометра, не переводя дыхания, мчалась девочка и сообщила постовому:

— В хате, что на краю леса... Сидит взаперти...

Все на заставе пришло в движение.

Через несколько минут Вера слышала уже, как начальник заставы изобличает шпиона.

На столе лежала плитка шоколада, которую Вера передала начальнику. Шоколад растворили в молоке и дали кошке. Кошка тотчас же издохла.

...Вчера Президиум Верховного Совета Белорусской ССР за проявленную доблесть и активную помощь пограничной охране в борьбе с нарушителями государственных границ наградил ученицу Веру Антоновну Гайбут грамотой и премировал ее именным ценным подарком.

Известия, 12 июля 1939 г.

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ

Каждое лето нас ждали радость и развлечение — пионерский лагерь. Ездили мы не все вместе, а врозь, по сменам, и обязательно каждый воспитанник проводил месяц в лагере. И это тоже было неплохо, что жили мы там с ребятами из других мест, в большинстве "домашними".

Недалеко от Покрова есть городок Петушки; вот рядом с ним в деревне Грибово был наш лагерь. Теперь и само название звучит для меня романтично — Грибово! Грибы! Но тогда, правду сказать, мы грибами не очень увлекались. Деревня стояла прямо в лесу, на берегу большого, очень красивого и чистого озера. Мы каждый день, а то и по несколько раз в день купались, ходили в лес на ближние и дальние прогулки, любители сидели с удочками над озером. Был даже кружок рыболовов, я тоже в него записался, посидел несколько раз с удочкой, но мне стало скучно, и я бросил это занятие. Я, как всегда, предпочитал сидеть с книжкой.

Конечно, и в лагере есть строгий распорядок дня: подъем, отбой, линейка, зарядка — все, как положено. А все-таки жизнь совсем другая, чем в детском доме, и мы себя чувствовали вольнее и веселее. Начать с того, что жили мы в Грибове в деревенских избах — а ведь это почти как дома. Вся канцелярия и начальство лагеря, разные кружки, библиотека размещались в школе. Для кухни и столовой строились летние помещения, вроде навесов. А пионеров размещали по избам. Жили мы в горнице, как в деревне называют, "на чистой половине", а хозяева перебирались или в холодные пристройки или на кухню. В горнице ставили для нас раскладные кровати, набивали сеном матрацы — и жилье готово. Было нас в доме человек восемь мальчишек, и иногда по утрам хозяйка поила нас парным молоком. Для меня лагерь всегда ассоциировался с чувством — вот я как будто пожил в семье.

Надо сказать, что в детском доме нас мучали клопы. Особенно летом — прямо не было от них житья. В летнюю ночь спать невозможно — заедают клопы. Проснешься среди

ночи, выскочишь на улицу, немного передохнешь и идешь обратно в постель. Жарко, душно, клопы — это были ужасные ночи. Но в детстве все быстро забывается, и жаловаться некому. К тому же мне это казалось в порядке вещей, я был уверен, что везде так; ведь мы же раз в десятидневку свои постели проветривали, перетряхивали, делали уборку. А вот в Грибове в избах клопов не было, пахло сеном; мне было хорошо и уютно, и я решил, что в деревнях клопов вообще не бывает. Узнаешь обо всем на своем опыте... Короче говоря, в Грибове мы отдыхали не только от привычной обстановки, надоевших воспитателей, но и от клопов.

Летние дни в лагере летят очень быстро, жизнь заполнена делами и событиями. Кроме игр и развлечений, мы обязательно ходим на работу в колхоз. Обычно нас посылают на прополку овощей. Ходим мы по очереди, отрядами или звеньями, выходит по разу или два в неделю, с обязательным веселым купаньем на обратном пути. Так что не кажется тяжелым этот труд, а тоже вроде развлечения.

Бывают в старших отрядах военные игры: синие, красные, зеленые. Конечно, каждый отряд жаждет быть "красным". Обычно один отряд прячет знамя, а другой должен его найти. Тут мы учимся ориентироваться на местности, быть наблюдательными, уметь находить дорогу в лесу. Мы все любим эти игры, нам нравится чувствовать себя бойцами, разведчиками, сильными и смелыми. И все-таки я предпочитаю дальние походы, особенно с ночевкой у костра, со звездным небом над головой. Может быть, со времен этих походов я полюбил звездное небо, и если бы жизнь сложилась иначе, я обязательно стал бы астрономом. И запах подгоревшей каши в котле не казался мне тогда противным.

Но однажды в лагере случилась настоящая тревога. Было это летом тридцать девятого года. На утренней линейке, когда обычно объявляется распорядок дня, старший пионервожатый сказал, что сегодня распорядок изменяется из-за чрезвычайных событий.

— Нам сообщили, что в нашем районе, вблизи деревни замечены какие-то неизвестные люди. Не исключено, что это немецкие шпионы...

Я очень запомнил почему-то, что речь шла именно о немецких шпионах. Этих людей, говорят нам, надо найти, и мы должны помочь взрослым. Нам поручается пойти

на поиски в таком-то направлении, а другому отряду — в другом. Можете себе представить, какое возбуждение охватывает весь лагерь. И как малыши, которых не берут на этот подвиг, горюют и плачут от обиды.

И вот мы всем отрядом, человек тридцать, идем в известном только вожатым направлении, по каким-то лесным тропинкам, и вожатый все время находит какие-то следы: то трава как-то особенно примята, то окурок брошен. Он подбирает этот окурок и громким шепотом объявляет — мы все говорим шепотом, чтобы не вспугнуть врагов — что это не наш окурок, а какой-то иностранный. И мы, воодушевленные тем, что помогаем в борьбе с врагами, рыщем во все стороны, стараясь шуметь как можно меньше. Но это нам плохо удается. Мы же мальчишки и девчонки, и не умеем ничего делать тихо. Наконец, при помощи все того же вожатого — но мы-то были уверены, что сами! — мы набредаем на какую-то вырытую в земле и прикрытую травой и ветками землянку. Это оно — вражеское укрытие! Вот рядом какой-то подземный ход и потайная труба, через которую дым из землянки должен идти не прямо, а в сторону, под какое-то дерево. Кто же мог это сделать? Честному человеку нечего скрывать от других, незачем прятаться, значит, это обязательно шпион. Шпиона мы, конечно, не нашли, только место, где он был и оставил следы. Все же мы были очень горды, что помогаем нашим пограничникам вылавливать всех этих врагов и шпионов.

Все это делалось и обставлялось так всерьез, что никак не могло быть принято за игру. Это теперь я понимаю, что в нас "играли", нас "натаскивали" на любого незнакомого человека, что это было одно из звеньев нашего воспитания. А тогда мы прямо "рвались в бой" и горели патриотизмом. Германия не была еще нашим "другом", и что бы ни случилось плохого — виноваты были немцы. Нам читали лекции и доклады о фашизме, фашистской Германии, о героических пионерах-антифашистах и прочем... А нам не хватало ума задуматься: откуда в Грибове (!) граница, пограничники, немецкие шпионы? И зачем им Грибово?

Большинство ребят в нашем лагере были из Орехово-Зуева, их родители работали на текстильной фабрике, которая была шефом нашего лагеря. Иногда к нам приезжала делегация шефов, привозили подарки, говорили речи. А мы устраивали спортивные соревнования и концерт самодея-

тельности. К таким дням мы всегда долго готовились, бывало шумно, весело, и обед и ужин были лучше, чем обычно. Но самыми радостными были в лагере родительские дни — радостнее даже пионерского костра. Один раз за смену родителям разрешалось приезжать в лагерь на целый день. Тогда распорядок дня сбивался, ребята целый день бродили с семьями в лесу или на озере, устраивали с ними пикники, многие не приходили даже в столовую. К вечеру все возвращались усталые, объевшиеся домашней провизией и нагруженные гостинцами. Приносили кто что: конфеты, яблоки, варенье, а кто и пироги... Нам, детдомовским, тоже перепадало домашнего угощенья, почти все делились со своими детдомовскими приятелями. И я, как все, любил родительские дни из-за гостинцев. Но все-таки бывало грустно: ко мне-то никто не приехал и никто не привез мне никакого подарочка...

Население Западной Украины и Западной Белоруссии с ликованием встречает Красную Армию! Радость и ликование

Западная Украина, 19 сентября. (От нашего спец. корр.). Население сел и городов Западной Украины восторженно встречает бойцов доблестной Красной армии. Улицы полны радостного ликования. Мужчины и женщины со слезами волнения на глазах обнимают бойцов. В городе Корец после прибытия Красной армии состоялся митинг. Присутствовало около 1000 человек. Многие пришли сюда с цветами, с хлебом-солью...

Население города обступило бойцов, благодарило их за помощь, от всего сердца желало им дальнейшего успеха. 60-летняя Баранова, вышедшая навстречу бойцам, держала в руках красный флажок. С трудом сдерживая волнение, она, обратившись к бойцам, сказала:

– Спасибо Красной Армии за то, что она освобождает нас от произвола польских панов. Настал конец нашей бесправности и обездоленности. Да здравствует родной Сталин!

Известия, 20 сентября 1939 г.

УЩЕРБНОСТЬ

Это чувство ущербности я особенно остро ощутил впервые в Артеке. Артек — знаменитый пионерский лагерь в Крыму, мало кто из простых смертных побывал там. Я попал туда летом тридцать девятого года, уже после Грибова. Когда я вернулся из Грибова, оказалось, что нашей школе дали одну путевку в Артек и директор решил послать меня. Я был из лучших учеников. Так я впервые увидел море. В Артеке все было в десять раз лучше, чем у нас: кормили лучше, и дома прекрасные, а главное — море, горы, природа, вся обстановка совершенно необычная.

Но мне оказалось там совсем не уютно. Хотя в лагере все в равном положении, внутри я все время чувствовал, что я не такой, как другие, что я из детского дома. И в школе, и в Грибове бывало, что ребята относились к детдомовским с пренебрежением, но там всем было известно, что я из детского дома. К тому же нас было там много, детдомовских, и мы всегда могли за себя постоять. А здесь я впервые оказался один, и мне не захотелось говорить, что я из детского дома, захотелось побыть "как все". Когда не имеешь родителей, попадаешь в специфические условия. И я сказал ребятам, что у меня есть дом и родители — как у всех. Но ведь детвора — народ пронырливый и наблюдательный, они быстро замечают, что ты не получаешь писем. Начинаются вопросы: что это тебе твои родители не пишут? И ты начинаешь что-нибудь выдумывать. А что? Я придумал самое стереотипное: мой отец — капитан дальнего плавания, он далеко в море, мама в этот раз с ним, поэтому меня и отправили в Артек. Ну, а какие же письма из дальнего плавания? И все смотрят на меня с уважением и даже с завистью. Но обязательно найдется кто-нибудь, кто все про тебя разнюхает, где-то подслушает какой-нибудь разговор взрослых. И начинает всем рассказывать, что у тебя нет никаких родителей, не то что папы-капитана, что ты из детского дома. И ребята начали меня дразнить. "Бездомный, подкидыш..." — много обидных слов в русском языке. Когда тебя дразнят —

тебе плохо. И в дальнейшем, стараясь себя оградить от обиды, ты выдумываешь новые легенды, но в конце концов всегда бываешь бит.

Во мне эта ущербность сидела всю жизнь, даже слова директорши Марьи Николаевны, что родители меня не бросили, что они были хорошими людьми и погибли, не помогли. Я продолжал стыдиться того, что у меня никого нет, что я из детского дома, и всегда старался скрыть это. Вероятно, это внутренняя потребность каждого человека — иметь кого-то, кому ты нужен, не быть "ничьим". Было время в армии, когда я сам себе писал письма — только чтобы не чувствовать себя совсем одним на свете и не отвечать на вопросы. А в последний срок в лагере, уже совсем взрослым мужиком, придумал себе семью на воле: вроде бы у меня там остались жена и двое детей. И я рассказывал о них при случае... От одиночества это не спасает, но от лишних объяснений с окружающими избавляет. И пока я не встретил свою жену, я продолжал скрывать, что я ничей. Да и ей не все сразу о себе рассказал — не знал, как она к этому отнесется...

Однако эта ущербность — не приниженность. Этого у меня не было, может, наоборот, излишняя заносчивость. Думаю, от приниженности меня спасла литература. Она поставила меня на равных со всем миром. На мой взгляд, литература — самое демократичное, что есть в мире. Во-первых, я всегда на равных с любым писателем. В книге он высказывает свои самые сокровенные мысли и чувства. У него есть потребность поделиться ими, и он обращается ко мне, читателю. Значит, я ему нужен, я ему равен. Иначе зачем бы он рассказывал мне все это? Эта уверенность жила во мне всегда, с детства. И я бы очень удивился, если бы узнал, что какой-то писатель считает себя выше меня. Как же он пускает меня к себе в душу?

А во-вторых, мальчишкой, читая о любом герое, на любом уровне, я входил в его жизнь и принимал в ней активное участие. В этом я никогда бы не усомнился. И где бы еще, кроме книг, я мог встретить таких разных людей: императоров и землекопов, римских пап, героев и преступников? Меня не возвышала в собственных глазах близость к французскому королю, как не унижала близость к любому каторжнику. Я был равен любому из них, я был ими всеми... Это чувство равенства с миром живо во мне.

Закончились оборонные соревнования пионеров и школьников

Вчера закончились оборонные соревнования пионеров и школьников РСФСР. В этих соревнованиях на полигоне Центрального Совета Осоавиахима СССР более 600 пионеров и школьников оспаривали командное первенство по стрельбе, по противовоздушной и противохимической обороне и по санитарному делу.

Известия, 12 июля 1939 г.

Призыв 1939 года

Молодые советские граждане, родившиеся во второй половине 1918 года и в 1919 году, готовяться стать под овеянные славой знамена Красной армии. С радостью и воодушевлением сталинская молодежь встречает предстоящий призыв. В армию и флот идет цвет нашей молодежи. Дни перед призывом ознаменованы новым подъемом пламенного патриотизма. Эти высокие благородные чувства разделяет вся страна...

С каким энтузиазмом было встречено решение XVIII съезда партии об усилении оборонной работы! Как горячо и восторженно одобрил весь народ решение Третьей Сессии Верховного Совета СССР об ассигновании из бюджета 1939 года на оборону страны 40.885 миллионов рублей!

Известия, 27 августа 1939 г.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

Тогда я совсем не знал, что это событие сыграет роковую роль в моей жизни; скажу честно, я его даже не заметил.

Дело было в конце октября 39-го года, я давно вернулся из Артека, в школе уже шли занятия. Я учился в четвертом классе и продолжал жить в детском доме №3. Однажды нас, нескольких мальчишек, собрали и повели в поликлинику. Больница в Покрове прекрасная, еще с дореволюционных времен. А хорошие ли были врачи — не знаю. Привели нас к кабинету врача, стали вызывать по одному. Вхожу я в кабинет, там сидят несколько врачей и воспитательница из нашего дома. Я почему-то воспитателей из этого детского дома почти совсем не помню. Велели мне раздеться догола, я разделся. Стою перед ними голый. Женщина-врач говорит:

— Подойди ко мне, Миша. — Я подошел, она меня осмотрела, как всегда бывало у врача. Сказала:

— Раскрой рот. — Я открыл. — Скажи а-а-а! — Я сказал "а". Она что-то посмотрела, пощупала горло, потом ощупала всего меня, особенно мои мужские органы — я это тогда про себя отметил. Говорит:

— Все. Одевайся. — Я оделся и вышел.

Так осмотрели всех нас, а когда мы шли домой, я спросил воспитательницу:

— А для чего это? Ведь мы не больные...

Она ответила:

— Это нужно для освидетельствования... — А я и слова этого еще не понимал. Ну, и все, мало нас осматривали, что ли? Я не обратил внимания и скоро забыл об этом случае. И вдруг в совершенно неподходящее время нас, кого водили на осмотр, переводят в детский дом №4. Обычно перевод происходил после окончания занятий в школе, где-то в начале лета, а тут вдруг в конце осени. По правилам я до конца 4-го класса, то есть весь тридцать девятый и первую половину сорокового года должен был пробыть в третьем детском доме. Но, честно говоря, мы этому переводу очень обрадовались, почти так же, как когда нам впервые

выдали длинные брюки. Перевод в другой детский дом как бы утверждал, что мы старше тех, кто остается — и нам это было приятно. А подоплеки этого дела я не понимал ни тогда, ни долгие годы спустя. И никак не связал наше посещение врача с досрочным переводом в другой детский дом.

И только гораздо позже, обдумывая все события своей жизни, вспоминая, сопоставляя и сравнивая, я понял — в чем было дело. Этот почти незамеченный мною осмотр был переосвидетельствованием для определения нашего возраста. А попросту говоря — в тот день врачи прибавили мне три года. С тех пор все и стало не сходиться в моей жизни. Когда в 1941 году меня выпустили из детского дома, по документам получалось, что мне 15 лет; год рождения — 1926. Значит, я должен был, как все ребята в 15 лет, кончить восемь классов — тем более, что я все годы в школе был отличником. Ведь я попал в детский дом маленьким, жил там до школы несколько лет и не могу думать, что меня отдали в школу позже, чем полагается по закону. А если меня отдали в школу в 7 лет, то к пятнадцати я должен был кончить восемь классов, я же весной 1941 года закончил только пять. Вот первое расхождение на три года.

Второе: по справке, которую я случайно увидел в своем "личном деле" на столе у Марии Николаевны, выходило, что в 1941 году мне исполнилось только 12 лет: там было сказано "Николаев Миша четырех лет" и дата — 1933 год. Значит, я родился в 1929, а не в 1926 году, как записали мне в метрическом свидетельстве. Вот еще расхождение — опять на три года.

Эти три года, которые мне одним росчерком пера прибавили врачи вместе с воспитателями, и повели всю мою жизнь наперекосяк. Пробудь я в детском доме еще три года, я успел бы кончить восьмилетку, и война подходила бы уже к концу. Не попал бы я в 12 лет на самую тяжелую мужскую работу, а в 15 на фронт; и возможно, даже смог бы получить образование.

Для меня не составляет загадки, почему наше государство пошло на такой шаг, и нет сомнения в том, что делалось это в государственном масштабе: ни дирекция детского дома, ни отдел народного образования никогда не решились бы на такую подделку самостоятельно. Советская власть, как говорится, убивала сразу двух зайцев: переставала нас

кормить и заботиться о нас и получала дополнительные рабочие руки. Если это, как я уверен, было проведено по всей стране, то цифра должна была получиться немалая.

Но ведь государство, советская власть — это абстракции. Я больше думаю о тех людях, которые это делали: о врачах, воспитателях, директорах детских домов... Они-то не могли не понимать, на что они нас обрекают? Тем более, все уже чувствовали — война не за горами. Нас было тогда у врача человек 8-10 или даже 12, я точно не могу вспомнить. С какой совестью эти врачи выталкивали во взрослую жизнь столько детей? Как они смотрели в глаза друг другу? Вот Солженицын пишет "Жить не по лжи!" И это было бы замечательно, если бы было возможно. Если бы эти люди могли не солгать, отказаться нас переосвидетельствовать, они не погубили бы восемь или двенадцать жизней. Сколько из этих мальчишек умерло от голода и тяжелой работы во время войны? Сколько не вернулось с фронта? Сколько всю жизнь промыкалось по лагерям, как я? Не знаю... Да ведь, может быть, не только нашу группу они "переосвидетельствовали". Но — страх. Страх за себя, а главное — за своих детей. Страх движет поступками любого человека в нашей стране. Каждый понимает — не только свобода и благополучие, но сама жизнь его и его детей в руках государства. Откажись с ним сотрудничать или только помедли с ответом — и тебя сотрут в порошок. Наверное, и у врачихи, которая меня ощупывала, были дети. Жена моя кипит: небось, у нее самой были дети, и она, врач, женщина, как же она могла так обездолить других детей?! В том-то и дело, что — чужих. Что ей "ничей" Миша Николаев, когда ее собственный ребенок, откажись она сделать то, чего от нее требуют, может очутиться на месте этого Миши? Бог с ним, с Мишей и с другими мальчишками, они все равно пропали, но своих-то я уберегу, спасу... Скорее всего, так они все рассуждали. И еще: что я могу сделать один? Сила солому ломит... Русская народная мудрость придумала для таких случаев много оправдательных присказок. Так что не думаю я, что можно в современной России жить не по лжи, да и сам Солженицын это показывает своей книгой "Бодался теленок с дубом". "Не по лжи" в России можно только гнить в лагерях.

Выдача паспортов в Литовской ССР

Каунас, 16 мая. (ТАСС). В республике началась выдача советских паспортов. С большой радостью получают трудящиеся Литовской ССР документ, удостоверяющий их советское гражданство.

Выдача паспортов продлится до 1 августа этого года.

Известия, 17 мая 1941 г.

МОИ ДОКУМЕНТЫ

Прошло почти тридцать лет с тех пор. Отвоевал я на войне, отработал все, что заставили, на советскую власть, отсидел, сколько на роду было написано, в советских лагерях, и решили мы с женой уехать — благо дверца клетки чуть-чуть приоткрылась. Чтобы уехать, каждый знает, требуется масса справок и одна из первых — справка о рождении и справки о смерти родителей. А где мне их взять? Я ни о своем рождении, ни о родителях ничего не знаю, кроме того, что они были, и я у них родился. Мне и самому интересно узнать, кто они были, где и когда я родился. Когда я сидел последний срок, вернее, был еще под следствием, в 1957 году, следователь похвалился: мы можем про человека все узнать! Я ему предлагаю:

— Ну, если вы такие всемогущие, узнайте про мою мать: жива ли она, где и что. — И, конечно, сказал ему имя, отчество и фамилию, которые назвала мне давным-давно заведующая детским домом. И следователь осрамился — ничего не смог узнать. Да я и до этого знал, что "они" совсем не всемогущи, и львиная доля информации о нас идет к ним от нас же.

Однако, справки для ОВИРа — дело серьезное, без них не уедешь. Жена написала всюду, откуда можно было бы получить нужные сведения: в Покров и в Петушки — в Бюро ЗАГС, в архивы... Ответ варьировался: или "Николаев... не значится" или "архивы не сохранились". Конечно, советские архивы и так-то уничтожали почем зря, а тут еще война — могли и впрямь погибнуть. Кстати, про архив вспоми-

наю смешной случай. В семьдесят четвертом году пришлось нам хоронить знакомого старика. На Ваганькове у его жены были похоронены родители, и она хотела мужа похоронить вместе с ними. Но номера могилы не помнила, знала только место. Приехали мы без нее, думали найти могилу по книгам — не смогли. Говорят, книги есть только с декабря сорок первого года; а родители нашей знакомой умерли еще до войны. Спрашиваем:

— Где же старые книги?

— Где, где? — отвечают. — Не знаете, что ли — война! Когда немцы подходили к Москве, весь архив сожгли...

Кладбище не располагает к веселью, но мы рассмеялись: какие государственные тайны среди покойников, чтобы надо было уничтожить кладбищенские книги? Пришлось поехать за вдовой, чтобы она показала смотрителю "свое" место.

Однако не все архивные материалы пропали. В 1967 году дочери Цветаевой А.С. Эфрон должно было исполниться 55 лет, и она могла выйти на пенсию. А ей в какие-то давние годы перепутали год рождения, записали в документах 1913 вместо 1912. Она говорит:

— Я не хочу ждать лишний год. Что мне делать?

Ей посоветовали написать в Московский архив, указать, когда и где она родилась. И буквально через неделю она получила справку, что в церковных книгах такой-то церкви записано, что она родилась тогда-то и тогда-то крещена... Хотя прошло больше полувека.

Но никаких следов, что мне когда бы то ни было выдали свидетельство о рождении, не оказалось, хоть выдавали мне его летом 1941 года, а выписали, может быть, в 1939, после "освидетельствования". Тогда мы написали туда, где я получил свой первый паспорт. Немцев там не было, архивы могли сохраниться. Опять ответ: "Николаев... нигде не значится". Но ведь давали же мне паспорт, предъявлял я при этом какой-то документ, удостоверяющий, что я — это я, и что я когда-то родился. Должны же были в какой-то книге записать, что я получил паспорт? Там и расписаться заставляют в получении. А я нигде не значусь... Может быть, таких, как я, никуда не записывали, чтобы нельзя было отыскать концов? Выдали липовую метрику — и живи. Так мне и не удалось ничего о себе узнать. А ОВИР удовлетворился бумажками, что архивы не сохранились. Они мне заменили справку о рождении и справки о смерти моих родителей. Хотя, может быть, моя мать до сих пор жива?

ДЕТСКИЙ ДОМ НОМЕР ЧЕТЫРЕ

Так в необычное время, перед новым, 1940 годом, я оказался во "взрослом" детском доме, где жили ребята с одиннадцати-двенадцати до пятнадцати. Я был горд. Я никогда не задумывался, сколько мне лет, как-то этот вопрос передо мной не возникал. Никто никогда не спрашивал меня: — Сколько тебе лет, Миша? — кому нужно было, смотрели в моем личном деле. Поэтому никому не пришлось объяснить мне: тебе, оказывается, не десять, а тринадцать лет. И хотя ребята в новом детском доме были старше меня, я этого не чувствовал, потому что для своего возраста я всегда был довольно рослым и сильным. Наверное, именно таких и отбирали для переосвидетельствования.

Это был кирпичный дом начала века: высокие потолки, огромные окна, широкие коридоры, просторные светлые комнаты. На втором этаже был большой зал с роялем, где устраивали концерты самодеятельности, танцы, на Новый год ставили прекрасную елку. До революции в этом здании помещались земская и городская управы, а теперь там училище культуры — есть такие странные учебные заведения в нашей стране.

Жизнь текла, как в прежних детских домах. Все та же дисциплина, тот же распорядок дня: школа, уроки, дежурства. Летом — пионерские лагеря, походы более дальние, чем у маленьких. Появилось и новое — в отношениях ребят между собой. Больше интереса к девочкам, разговоров о любви. И отношения мальчишек между собой стали как-то активнее, появились дружащие и враждующие группы, компании. Мы росли и уже начинали подголадывать, нам не хватало того, что давали в детском доме. Начались набеги на окрестные сады и огороды; это была не только демонстрация друг перед другом своего "молодечества", не просто озорство, но и естественное желание поесть. Конечно, и я принимал участие в таких делах — как же иначе! Помню, какие были вкусные огурцы и помидоры с чужих огородов, какая замечательная картошка, испеченная в золе! Главное бы-

ло — не попасться, и это нам почти всегда удавалось. Иначе каждому грозило серьезное наказание... В общем, жизнь в четвертом доме казалась мне гораздо интереснее, чем в третьем.

Для многих из нас наступал возраст особенной напряженности и жестокости. Вошли в обиход злые и гадкие шутки друг на другом, стремление властвовать над более слабыми. Я уже писал про нашего "Гитлера", который буквально подчинил себе всех ребят. Но вот еще довольно обычная сценка. Чаще всего это устраивали с новичками. Спящему засунут между пальцами ног кусочки бумаги и подожгут. Когда ему начинает жечь ноги, он, ничего не понимая спросонок, дергает ими, болтает в воздухе, не может освободиться от огня. А все хохочут, всем весело. Называется эта "шутка" — велосипед. Потом я видел, что она распространена и в казармах, и в тюрьмах. И таких было придумано немало. То ли нравственные критерии в нас были расшатаны, не успев установиться, то ли понятие о человеческой доброте совсем не было развито...

Но я и здесь жил более или менее отчужденно, по-прежнему дружил больше с девочками, и все свободное время старался укрыться где-нибудь с книжкой. Иногда это мне удавалось.

Новое и неприятное, что появилось в четвертом детском доме, было то, что мы начали работать.

Только слепые не видят, что в психологии масс и в их отношении к труду произошел громадный перелом, в корне изменивший облик наших заводов и фабрик. СТАЛИН.

Правда, 1 января 1933 г.

ТРУД

Собственно, к труду меня приучали с тех пор, как я себя помню. Еще в первом детском доме, лет с пяти нам приходилось помогать на кухне и в столовой. Мы накрывали на столы, раскладывали хлеб. А на кухне дежурные чистили картошку; не сырую — ножей нам еще не доверяли, а вареную, которую можно чистить пальцами. Я и сейчас помню, как горячая картошка обжигала пальцы... Зимой мы чистили снег в нашем саду, летом расчищали дорожки, но это было еще вроде игры. А начиная с третьего детского дома дело пошло серьезнее. Ежедневно назначались дежурные на кухню, в столовую, следить за чистотой. Кто помогал расставлять и убирать посуду, разносить хлеб, разливать кисель, кто чистил и мыл картошку, кто подметал полы. А раз в десятидневку — в банный день — мы должны были выносить во двор свои матрацы, все проветривать. И в это время мыли полы, а летом и окна. Это делалось сообща: мы и девчонки. Никаких нянечек в этом детском доме уже не было, все на самообслуживании. Были поварихи, завхоз, кладовщик, но следить за чистотой, порядком и помогать на кухне должны были мы сами.

А в четвертом классе мы уже и по ночам дежурили — вместе с дежурным воспитателем. Сидишь в коридоре за столом, перед тобой журнал ночного дежурства. И ты в него записываешь, что случилось за время твоего дежурства: кто не спал, шалил и т. п. Потому что утром приходил пионервожатый и принимал этот журнал, а потом на линейке делали выговоры тем, кто нарушал дисциплину. Сидишь, конечно, не всю ночь, а попеременно: один два часа, другой два часа.

Смену сдал, смену принял... А утром, недоспав, бежишь в школу. Думаю, это тоже был один из приемов советской педагогики: сегодня я на тебя могу нажаловаться, а завтра ты на меня...

Но я имею в виду не труд по самообслуживанию и не эти дежурства, которые наполовину были похожи на игру. Со второго класса нас летом начали водить по утрам в ближайший колхоз на прополку овощей. Считалось, что полоть — самое детское дело, а на более тяжелые работы нас не водили. Все-таки здесь уже появилась для нас норма, каждый должен был прополоть столько-то метров или грядок огурцов, моркови, свеклы, капусты. Тогда-то я впервые почувствовал, что труд — не забава, что это серьезно и очень утомительно. Каждый день четыре часа наработаешься под солнцем, а после обеда спишь, как убитый. Но летом легче, потому что нет занятий в школе, и после обеда ты свободен. Выспишься — уже вроде бы забыл о работе, бегаешь, играешь.

Ну, а в четвертом детском доме труд был поставлен на производственную ногу. Кроме того, что при доме был свой огород, на котором все мы работали, были организованы еще и ткацкие мастерские. Я упоминал, что недалеко от Покрова был крупный текстильный центр Орехово-Зуево, и наши детские дома были как-то связаны с тамошними фабриками. Кажется, они были нашими шефами. Вот мы и начинали трудовую жизнь ткачами. В нашей мастерской стояли ручные ткацкие станки старого образца, на которых мы делали готовые вещи — свитера и чулки. Как сейчас помню: одна ручка вверху, другая внизу, ряд иголок. Надо было определенным образом водить ручками — получался свитер-пуловер. Нас учили обращаться со станком: заправлять нитки, вставлять иголки — все как надо. Ткали мы из хлопчатобумажных ниток. И были две круглые чулочные машины, на них мы делали чулки. Мне кажется, поставь меня сейчас к таким станкам, я сразу смогу на них работать. Но думаю, что такой допотопной техники теперь уже нигде нет.

Это был настоящий обязательный труд. Каждый из детдомовцев должен был ежедневно отработать по четыре часа в мастерской. Кто учился в первую смену — после школы, кто во вторую — до уроков. Была и норма на каждого; кажется, за четыре часа надо было сделать два свитера. Если не выполнишь норму, тебя наказывают. Не то что ударников на красную доску, а лентяев — на черную; для большинства ребят это ерунда, пустяки, не стоящие внимания. В наказа-

ние нас лишали каких-нибудь радостей и развлечений. Это я точно помню, потому что сам не раз бывал так наказан.

Так, с одиннадцати лет я начал по-настоящему работать. Американские друзья, когда я им об этом рассказывал, спрашивали: а платили вам? Мне даже смешно: конечно, никогда нам никто не платил ни в колхозах, ни в мастерской. Возможно, детский дом получал за наш труд какие-то деньги, но мы про них не знали и даже не думали. Все это было в порядке вещей, мы были уверены, что мы и так облагодетельствованы советской властью, и нам не могло прийти в голову, что и мы кое-что зарабатываем своими руками. Я не сомневался тогда, что и сам я и все, что я могу сделать и еще сделаю в жизни, принадлежит родине (тогда, конечно, только с большой буквы — Родине). А что такое родина? Споры об этом, наверное, никогда не кончатся, но в те времена у меня никаких сомнений не было: слово *родина* абсолютно сливалось со словами *советская власть*, *партия*, *государство*.

По-видимому, важнее материальной пользы, которую наш труд приносил детскому дому, была сама идея приучить нас к физическому труду сызмала. И нас приучили, как механизм, который завели для работы на долгие годы. Что же касается удовольствия от работы или любви к труду, то не знаю, как у других, а у меня с тех самых пор физический труд ничего, кроме отвращения, не вызывает. Во-первых, для меня это было слишком тяжелой нагрузкой — я был еще слишком мал. Во-вторых, это отнимало время у чтения. А в-третьих, — зачем мне были эти свитера и чулки? Я понимал только, что хочешь — не хочешь, а надо каждый день в грязи и шуме проработать у станка четыре часа и обязательно постараться выполнить норму, чтобы не быть наказанным. Не так много в моей жизни было удовольствий, чтобы можно было ими пренебречь — и приходилось стараться у станка. Конечно, все это мы делали под лозунги типа: "Труд в нашей стране есть дело чести, доблести и геройства!" И хотя сам я не испытывал ничего, кроме усталости, я верил лозунгам больше, чем себе, и думал, что, наверное, я не все понимаю, к тому же я маленький, может быть, поэтому мне так трудно. Вот вырасту большой — тогда действительно будет "дело чести, доблести и геройства". И в книгах я читал, и в кино видел, что в нашей стране труд из подневольного стал свободным и прекрасным. Как замечательно и весело работали колхозники в фильмах "Богатая невеста" и "Трак-

тористы"! С песнями, музыкой, плясками... Эти песни мы все знали. А шахтеры? Конечно, их труд гораздо тяжелее моей работы на станке, а как они легко и азартно работают, и усталости не знают, и с работы идут с песнями. Мы сами видели это в фильме "Большая жизнь". Почти во всех фильмах труд сопровождался радостными песнями, а мне никогда на работе не хотелось не то что петь, но и слушать песни. Так я тогда думал и, признаюсь, испытывал чувство неполноценности оттого, что не понимаю красоты труда.

Но самым для нас интересным был фильм "Светлый путь", он рассказывал про ткачих, почти про нас. Правда, там никто не работает на таких старых станках, как в нашей мастерской. У них цех, как громадный светлый зал, и станки совсем новые и не ручные, поэтому они все становятся многостаночницами и работать им легко, поэтому столько хороших песен они поют. Вероятно, я все-таки краешком ума понимал, что не может на всех фабриках быть, как в кино, где-то еще не так прекрасно, но верил я всем этим фильмам безусловно.

Многие наши выпускники после детского дома уезжали в Орехово-Зуево, поступали сначала учениками, а потом и рабочими на ткацкие фабрики. И однажды нам устроили экскурсию на фабрику имени Петра Моисеенко. Нас решили познакомить с работой текстильщиков и показать весь технологический процесс: как из хлопка получается пряжа, а потом ткань. Это всегда увлекательно, как вроде бы из ничего, из огромных тюков чего-то, похожего на вату, получается что-то нужное и полезное. И ведь мы тоже из такой пряжи делаем свои свитера и чулки...

Фабрика эта очень большая. Нас привели на начало цикла. Огромные комнаты, в которые откуда-то сверху сыплется масса хлопка — где-то там наверху разгружают вагоны. Все делается вручную, и стоит такая пыль, что я боялся в ней заблудиться. Потом эта масса поступает в чесальные машины; они называются банкоброшные, я с того дня их запомнил. Нам говорила Н.Я. Мандельштам, что она на таких работала после гибели Мандельштама. Стоит такой жуткий шум, что люди кричат друг другу — и ничего не слышат. И так мы прошли по всем цехам, и везде одно и то же: грязь, пыль, шум, усталые лица людей... И вот, когда я все это увидел, я не то что удивился — я ужаснулся. Я подумал: как люди могут здесь работать? Потому что по литературе и по кино я

никак не мог вообразить, что работа так ужасна. Я мальчишка маленький был, но я почувствовал весь этот ужас и раздвоение: говорят, что труд прекрасен — и как он страшен на самом деле, как ничего общего не имеет с фильмом "Светлый путь". Тогда, на фабрике им. Петра Моисеенко, у меня промелькнуло первое сомнение в правдивости того, что говорят нам о жизни.

И другая экскурсия — на пластмассовый завод "Карболит", тоже в Орехово-Зуеве. Это был один из первенцев пятилетки, которым мы вместе со всей страной должны были гордиться, но у меня посещение его только усугубило впечатление ужаса от труда. Кроме шума и грязи там стоял еще такой ядовитый запах, что невозможно было находиться на территории, все время подступала к горлу рвота.

Так впервые реальная действительность вошла в противоречие со словами, которые я воспринимал как истину. Когда я вырос и волей-неволей много лет тяжело проработал, не заработав чести, не ощутив ни доблести, ни геройства, я очутился в исправительно-трудовом лагере. Само название дает понять, что там исправляют трудом. Там меня приветствовал новый лозунг: Труд дает свободу! Я слышал, что такой же висел в Освенциме... К этому времени я не верил уже никаким лозунгам — не то, что в детстве — и воспринял его как издевательство над всеми нами, над собой. Какую свободу? Можно было только надорваться на работе и умереть — и так освободиться и от труда, и от лагеря, и от самой советской власти.

Нет, мне за мою жизнь не довелось разубедиться в своем детском ощущении, что физический труд ужасен и отвратителен, хоть я и проработал уже больше сорока лет.

ВРАГИ НАРОДА

Жизнь и представления о ней детдомовца гораздо более ограниченные, чем у обычного ребенка. Ведь мы были лишены семейных событий, разговоров за домашним столом — той неофициальной и, на мой взгляд, самой важной информации, которая формирует представления человека о жизни и его отношение к миру. Наше "окно в мир" — учителя, воспитатели, пионервожатые, радио-тарелка в красном уголке, "Пионерская правда"... И сама информация, и интерпретация ее, поступавшая из всех этих источников, была абсолютно одинаковой. Все-таки события внешней жизни докатывались и до нас, а иногда подходили к нам совсем близко.

Я рассказывал, как мы с Колей "замазывали" в учебнике портреты бывших вождей, а ныне "врагов народа", и с каким удовольствием мы это делали. И вдруг настоящий "враг народа" оказался среди нас. Было это в 1937 году. Неожиданно исчез директор нашего детского дома №3 Басов. Я удивляюсь, что запомнил его фамилию; я почему-то не помню никого из воспитателей этого дома, только Басова. Может быть, как раз потому, что именно с ним это случилось.

Несколько дней Басов не приходил на работу, начались уже "шу-шу-шу" среди воспитателей, а потом и мы узнали — ребята в конце концов всегда все узнавали! — что его посадили, что он "враг народа". А Басова мы не любили. Он был большой, грузный, очень строгий и грубый. Почему-то помню его толстые руки с рыжими волосами на пальцах. Его не любили и боялись. И все мы не только не огорчились, что его посадили, но обрадовались. Надо бы плакать, а мы — втайне, конечно, — ликовали. Никто из нас никакого конкретного представления не имел, что это значит — "посадили". Просто мы радовались, что Басова у нас больше не будет. Слова "посадили", "сажают", которые прежде были связаны только с работой на огороде или в саду, дошли до меня в новом значении и прижились в моем сознании.

Но когда примерно через год арестовали директора

нашей неполной средней школы Кононова, я уже не радовался. Я бывал у него в доме, потому что, во-первых, его сын Генка Кононов был моим большим приятелем, а, во-вторых, потому что у Кононовых была очень хорошая библиотека, и мне позволялось часами в ней рыться, читать и даже брать книги домой. Ну, и конечно, директор — самая уважаемая личность в школе. Он главный для нас, ребят. И вдруг в одно прекрасное утро мы приходим в школу и узнаем, что его посадили как врага народа. Нам никто ничего не объявлял и не объяснял, до нас доходили слухи, "сарафанное радио". Генка из объекта притяжения для мальчишек сразу стал объектом отчуждения — сын врага народа. Это делалось как-то само собой, никто не говорил нам, что с Генкой теперь лучше не дружить, как никто не проводил с нами никаких вообще бесед по поводу ареста директора или врагов народа. Может быть, тут срабатывал какой-нибудь инстинкт? Подальше от зачумленных? Этим с детства подрывалась у нас уверенность в мире, чувство устойчивости. Если могут посадить директора школы или детского дома — на что же нам-то рассчитывать?! А с другой стороны, те же самые события учили нас не выделяться, быть как все, беспрекословно подчиняться. У незаметного и тихого всегда меньше неприятностей, ему легче уцелеть. Исподволь в нас воспитывалась бдительность — не только к врагам народа, а ко всему, что нарушает установленный порядок, ко всему неположенному, непохожему. Мне кажется, я был меньше других восприимчив к этому, потому что был слишком поглощен миром книг. Вот и общее отчуждение от Генки меня не коснулось, я его жалел, продолжал дружить с ним, бывать у них дома и читать книги из их библиотеки...

А все-таки и мне запомнились некоторые очень странные истории, которыми я был тогда взволнован и увлечен наравне со всеми. Все мы были пионерами и носили красные галстуки. Сейчас пионерский галстук завязывают узлом, а тогда у нас был специальный металлический значок-скрепка. На нем были изображены пять поленьев, охваченных тремя красными языками пламени. Такой костер. "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!" — все мы тогда знали эти стихи. Рисунок на пионерском значке, конечно, был символическим. Что он изображал? Пять поленьев — это пять частей света; три языка пламени — Третий Интернационал. Третий Интернационал, охватывающий своим пламенем все пять частей света, весь земной шар — это сим-

вол пионеров. Это было известно каждому перед тем, как его принимали в пионеры. И вдруг, когда начались процессы над Бухариным, Зиновьевым, Пятаковым и всей этой компанией, пионерские значки вскоре отменили. А почему? Нам было очень интересно. И среди нас появилась такая байка: все очень просто, потому что рисунок на значке — диверсия врагов народа. Если перевернуть значок вверх ногами, три языка пламени образуют букву Т , что значит — троцкистско. Если повернуть его боком, эти же языки пламени оказываются буквой З —зиновьевская. А если смотреть на рисунок прямо, то получится буква Ш — шайка. Значит, враги изобразили на нем свой символ: троцкистско-зиновьевская шайка. Никаких сомнений, что это вредительство, у нас не было, и никому не приходило в голову: а зачем поворачивать знак то боком, то вверх ногами? Или: ”шайка” — это же презрительное слово, это ругательство; если они сами это сделали, зачем им было так себя называть? Теперь все это кажется мне пародией или ситуацией из рассказа Кафки, а тогда мы принимали эти россказни за чистую монету, всему верили и со всем соглашались. Даже в своих школьных тетрадях мы искали и находили происки врагов народа. На обложках школьных тетрадей в тридцать седьмом году появился портрет Пушкина к столетию его смерти. И вот на лице Пушкина, там, где была ретушь, мы тоже находили слова о троцкистско-зиновьевской шайке или что-то в этом роде — сейчас точно не помню, но если бы увидел такую тетрадь, думаю, вспомнил бы. И никто нас не останавливал, никто не сказал: дети, опомнитесь, не вашего ума это дело, живите и учитесь спокойно.

Мы совсем маленькими попали в атмосферу всеобщего гипноза или психоза — назовите, как хотите — и я не сомневаюсь, что среди нас было множество павликов морозовых, готовых в любую минуту и в любом человеке обнаружить врага народа.

Последние известия
Встреча Гитлера с Муссолини

Берлин, 2 июня. (ТАСС). Германское информационное бюро сообщает, что Гитлер и Муссолини встретились сегодня в Креннере и в присутствии германского министра иностранных дел Риббентропа и итальянского министра иностранных дел Чиано в течение нескольких часов беседовали о политическом положении.

Известия, 3 июня 1941 г.

ОТВЕТ ДРУГУ

Теперь, пересматривая и передумывая заново свою жизнь, я думаю, что в лагерях, где я потом провел почти пятнадцать лет, мне было легче, чем многим. Не физически легче, а морально. Впрочем, физически тоже, я ведь привык впроголодь есть и жестко спать. Я был подготовлен к лагерю своей предыдущей жизнью — и в частности, детским домом. Для человека, вырванного арестом из дому, из семьи, лагерь — катастрофа, конец света, крушение всего, чудовищный непривычный мир, где вместе вынужденно копошатся сотни и тысячи чужих людей, а сам ты среди них — не более чем никому не нужная и неинтересная песчинка. Я же, проведши детство и юность по детским домам, общежитиям и казармам, никогда не видевши семейной жизни и нормального дома, как бы переселился из одного советского коллектива в другой. И как ни был страшен этот новый "коллектив", я мог с ним освоиться быстрее и легче, чем большинство "политических". Я даже думаю теперь, что не лагерь и не война, на которую я попал пятнадцатилетним мальчишкой, были самыми страшными этапами моей жизни, а именно детский дом.

Но когда, рассказывая о детском доме, я высказал эту мысль американским друзьям, они удивились.

— Я помню, — сказал мне друг, — ты говорил, что лагерь был для тебя ужасным, но ты был к нему уже подготовлен. Но до сих пор в твоем рассказе этого не чувствуется. То, что ты рассказываешь о детском доме — это не лагерь. Это, конечно, плохо, но для меня — неожиданно хорошо. Гораздо лучше, чем я ожидал. В твоем детском доме нет ничего ужасного...

Ему казалось, что в советском детском доме должны быть голод, холод, грязь, побои — что-нибудь в таком роде. Сиротские приюты он, вероятно, представлял себе по романам Диккенса. Я же вовсе не собирался никого пугать, я просто рассказываю свою жизнь. Ничего "страшного" в наших детских домах не было: никто не изде-

вался над нами, нас не били и не морили голодом. Конечно, нас наказывали, иногда и наподдавали — не без этого. И от клопов мы страдали и никогда не могли от них избавиться. Это было в порядке вещей. Но "ужасов" не было.

Собственно, я думаю, что физическое воспитание ребят в детском доме было нормальным и обычным, потому что по всему свету человек растит своих детей примерно одинаково. Он хочет сделать своего ребенка прекрасным — по своему разумению, конечно. Вероятно, и идеалы у воспитателей примерно похожи. Они хотят вырастить человека здоровым, сильным, смелым. И большинство хочет, чтобы дети выросли честными и добрыми. Я уверен, что ни у кого нет загодя цели сделать из ребенка бандита или убийцу — и тем не менее в мире немало убийц и бандитов.

Из нас хотели вырастить прекрасных советских людей, как говорят по-советски, "безгранично преданных делу партии и правительства". Даже без специального умысла детский дом нивелирует индивидуальность ребенка, приучает его к одинаковым с другими мыслям, чувствам и поступкам, к "стадности". В нашем же случае это было поставлено прямой задачей и проводилось неукоснительно и ежечасно. Конечно, мы сами этого не только не сознавали, но и не замечали. Но в идеале из нас должны были вырасти люди без человеческих особенностей. Потребность в самостоятельности, умение видеть мир по-своему и способность анализировать явления должны были вытравиться из нашего обихода и сознания.

И все-таки даже не это главное. А вот что. Сиротство страшно само по себе. Ребенку, чтобы вырасти нормальным человеком, нужны родители, нужна материнская ласка, нужна и отцовская строгость и твердость. Необходимо чувствовать, что ты кому-то нужен, кто-то тебя любит и всегда готов тебя защитить. Это придает ребенку смелости, уверенности в себе, каким-то образом открывает его душу навстречу другим людям. Возникает "круговая порука добра" — это слова из стихотворения неизвестной монахини, которые я прочел много-много лет спустя у Марины Цветаевой:

Человечество живо одною
Круговою порукой добра!

Но чтобы такая "круговая порука" возникла, добро должно быть персонифицировано. В детском доме ты сам,

маленькая личность, никому не нужен. Ты представляешь собой человеко-единицу, которую надо одеть, обуть, накормить, отправить в школу — но не человека просто, человека самого по себе. Номера, присвоенные каждому из нас — как они знаменательны и как страшны были для наших душ! Ребенок под номером — чего от него ожидать? Но тогда мы этого не понимали, а многие, я думаю, так никогда и не поняли.

Вот день рождения, например. Только теперь, когда у меня у самого дочка, я узнал, что это такое для ребенка. Как задолго она начинает мечтать об этом дне и готовиться к нему; как с вечера заглядывает нам в лица, стараясь угадать, какие подарки ее ожидают, а утром кидается их искать; как радуется пирогу, свечкам, гостям... А мы и не знали, что все это может быть. Нам не только не отмечали дней рождения, у нас их просто не было. Нам и в голову не приходило, что каждый из нас когда-то родился и что этот день может быть — праздником. Возможно, у родителей когда-то так и было, но я тогда был слишком мал. А в сознательном детстве я про день рождения никогда не слышал. И подарки делать так и не научился.

В детском доме тебя никто не любит — и сам ты приучаешься никого не любить. Никто за тебя не заступится, у тебя нет родительской надежной защиты — и ты приучаешься защищать себя сам, всегда быть настороже, дать отпор, огрызнуться. Ты — сам по себе и ни от кого не ждешь ничего доброго. Никто не прибережет тебе ничего вкусненького — и тебе самому никогда не придет в голову кого-нибудь угостить. Нет, правда, со мной один раз такое случилось. Я уже упоминал о своей первой любви к Лизе Беспаловой. Когда началась гражданская война в Испании, к нам в детский дом попали испанские апельсины. Похоже, ими испанцы расплачивались за советское оружие. Вот тогда я впервые попробовал апельсин, нам дали на обед на третье. Это было необыкновенно вкусно! И у меня появилась мечта: вот бы накопить ящик апельсинов. Я бы этот ящик подарил Лизе, она бы ела, а я бы на нее смотрел и радовался, как ей это приятно... Накопить ящик было, конечно, невозможно, но свой обеденный апельсин я с Лизой поделил. Кажется, это был единственный случай в моей детской жизни, потому так и запомнился. Обычно же каждый старался схватить себе за столом лучший кусок. Входишь в столовую. Если на

столе лежат яблоки, схватить самое большое и надкусить. Если стоит компот — схватить самый полный стакан и отпить или даже плюнуть в него. Застолбить. Чтобы никому не хотелось уже это "самое лучшее" взять.

Так это у меня на всю жизнь и осталось: ни от кого не ждать добра и никому его не делать, думать самому о себе — и только о себе, не упустить того, что идет в руки. От всего мира я всю жизнь ждал только плохого и был отгорожен от него стеной если не неприязни, то полного равнодушия.

Когда почти тридцать лет спустя я женился, жена моя — она всю жизнь прожила в дружной и любящей семье — никак не могла понять, как это я беру последний кусок или съедаю последнее печенье, апельсин в доме, когда есть старики и ребенок. Она приходила в ужас от моего эгоизма, но молчала. Ей казалось само собой разумеющимся, что лучшее или последнее надо оставить родителям и дочке, и было стыдно напоминать мне о таких элементарных вещах. Она была уверена, что я не могу об этом не знать, а просто я такой черствый человек. А мне-то это и в голову не приходило! И когда, наконец, жена решилась мне сказать, что ей странно, как это я, здоровый мужик, беру то, что предназначается старикам или ребенку, она была потрясена, что я ничего такого не знал, не думал и не умею.

— Так ты бы мне давно сказала, я же не знал... — ответил я на ее упрек.

И это поразило ее (она мне потом призналась) до глубины души: она и представить не могла той бездны отчужденности, которая отделяла меня от людей. Но я же никогда не жил в семье, и у меня никогда не было никого, о ком бы мне хотелось позаботиться. Я только в сорок лет начал учиться жить среди любимых людей и друзей. Но по-настоящему, может быть, никогда не научусь. Какие-то стороны души детский дом убил в самом зачатке, и они не развились...

А друг говорит: ничего ужасного...

Увеличение рождаемости в СССР

Как сообщил заместитель наркома здравоохранения СССР проф. Н.И. Гращенков, подведены итоги работы по охране здоровья советского народа в 1938 году.

Следует отметить прежде всего дальнейшее увеличение рождаемости. Естественный прирост населения по сравнению с 1913 г. в Москве увеличился почти в 2,5 раза, в Ленинграде – в 3,5 раза. По сравнению с 1913 г. смертность снизилась вдвое.

Большие успехи достигнуты в национальных республиках. В Армянской ССР, например, естественный прирост населения увеличился в 2,5 раза.

Известия, 8 января 1939 г.

Сокращение рождаемости в США

Нью-Йорк, 3 июня. (ТАСС). В Нью-Йорке открылась научная сессия Американской педиатрической академии. На сессии присутствуют 600 врачей. Президент академии доктор Генри Хелмгольц в своем выступлении заявил, что кризис, безработица и дороговизна медицинской помощи в США вызвали резкое сокращение рождаемости детей за последние годы. В 1938 г. детей школьного возраста насчитывалось в США значительно меньше, чем в 1930 г.

В Советском Союзе, заявил Хелмгольц, наблюдается совершенно обратная тенденция. Советское правительство уделяет большое внимание детям и оказывает материальную помощь многодетным матерям. Далее Хелмгольц указал, что в США молодые люди, находящиеся в браке, не желают иметь детей, ибо многие из них без работы и испытывают нужду.

Известия, 4 июня 1939 г.

Детская смертность в Канаде

Канадская печать в тревожных тонах сообщает о высокой детской смертности в стране. В результате постоянного недоедания, скверных жилищных условий и отсутствия бесплатной медицинской помощи в Канаде ежегодно умирают десятки и сотни тысяч детей. За время с 1931 по 1935 г. скончалось в возрасте до одного года 700 тыс. детей. Необычайно велик процент заболеваемости среди детей старшего возраста.

Сотни тысяч детей, — заявляет газета "Дейли клерион", — обречены в наше время на нищету и болезни.

Известия, 28 июня 1939 г.

СЧАСТЬЕ

И однако в детском доме я был счастлив, ведь я не знал никакой другой жизни. И наша казалась мне замечательной. Кроме тяжелого труда, который я, конечно, оправдывал необходимостью помогать нашему государству в борьбе с капитализмом, в жизни детдомовца было много радостей. Помню летние походы. Для малышей — совсем коротенькие, куда-нибудь на ближнее озеро или лесную поляну, на которой — мы знали — бывает много земляники. Мы наедались ею до отвала. Для ребят постарше — подальше, на целый день, с обедом где-нибудь у речки. А в детском доме №4 мне запомнился самый дальний поход от Покрова до Петушков, это километров 20-25 примерно. Было это уже перед самой войной...

Натягиваешь палатку, разжигаешь костер одной спичкой, потом бежишь к речке за водой... Добываешь дрова для костра, чистишь картошку, варишь кашу, а после еды моешь миски и кружки, — в походе это почему-то никогда не казалось трудом, а только развлечением... И непременная пшенная каша, хотя она всегда подгорала, казалась у костра самой вкусной едой на свете. Пели мы песни: "Взвейтесь кострами, синие ночи, мы — пионеры, дети рабочих!" И я смотрел на звездное небо, которое я всегда так любил, и думал о своем прекрасном будущем: как я стану астрономом, буду все знать о небе и звездах и обязательно сделаю какое-нибудь великое открытие. Книжек ведь я к тому времени начитался достаточно.

Были летом и менее чистые радости, ночные. Ночью дождемся, когда все воспитатели уйдут, останется один дежурный — а он за всеми сразу углядеть не может. Мы уже заранее сговорились небольшой компанией. Стараешься встать с постели совсем бесшумно да еще пристроить одеяло так, как будто под ним кто-то лежит... Вылезаешь из окна, перелезаешь через забор — и ты на воле. Эту свободу мы использовали, чтобы лазить в чужие сады и огороды. Отрясали яблони, набирали яблок, сколько могли унести. Или наощупь

обирали грядки огурцов; больше потопчешь, чем соберешь. Сколько раз за нами гнались возмущенные хозяева, пытались поймать, но мы всегда убегали. Это казалось нам романтикой и большим молодечеством. Впрочем, когда мы стали постарше, эти "набеги" частично восполняли недостаток еды в детском доме. Наворуем яблок, огурцов, картошки, испечем ее в костре — наедимся... Хлеб, который я ел в Покрове, — простой черный хлеб, но такого вкусного хлеба я больше никогда в жизни не встречал! Все это и было обыкновенное человеческое счастье.

А уж когда нас возили зимой на елку в Москву в Колонный зал — какая это была радость! Собирали только отличников (а я всегда был отличником). На улице мороз страшный. Нас одевали потеплее, закутывали и на санях — на лошадях, потому что автобусов в Покрове не было, а до станции 4 километра — везли на станцию. Потом мы на поезде до Москвы ехали часа 3. Покров от Москвы около 110 километров, но поезда тогда были медленные, с паровозом. Для нас и это было замечательной поездкой, нам ведь редко доводилось ездить поездом. В Москве нас кормили в буфете на вокзале, а потом на автобусе везли в Колонный зал. До войны эта елка была самой большой и главной в стране — и мы были на ней целый день. Там подарки давали: конфеты, яблоки, мандарины. И это для нас было редкостью — подарки! А вечером, на ночь глядя, мы тем же путем возвращались в детский дом. Сколько здесь было и гордости — побывать на самой лучшей елке в стране! — и радости, и впечатлений: поезда, автобусы, Москва, подарки... Как же нам было не считать себя самыми счастливыми детьми на свете? И много ли надо мальчишке, чтобы почувствовать себя счастливым? Вот такой случай. Приехал как-то к нам в школу писатель Дрожжин. Не дореволюционный поэт, а другой. Этот писал о технике, о технических достижениях. У него была книжка про роботов, называлась "Разумные машины". Я, конечно, ее прочел и очень хорошо знал. Приехал он к нам на своем автомобиле — наверное, был состоятельный человек, тогда автомобиль был редкостью. Во время встречи я проявил не только интерес, но и понимание его книги. Наверное, он удивился, что я ее так хорошо знаю, и обратил на меня внимание. И когда встреча с Дрожжиным кончилась, он меня пригласил прокатиться и довез от школы до детского дома. Я был горд и счастлив — на машине меня прокатили! Да еще настоящий писатель! Правда, недалеко от Покрова

был аэродром — травяной аэродром, там были одномоторные самолеты конструкции У-2. В День авиации 18 августа они катали публику над городом, и некоторым городским мальчишкам удавалось полетать. Но нам такого счастья не перепадало, мы могли только мечтать об этом. Зато на машине я прокатился, на М-1, ”эмке”, это у нас Форд так назывался.

Никто не хотел нас специально ущемить, причинить зло — если не считать, что нас лишили родителей. Зло было не физическое, а нравственное, когда в человеке закладывается нечто, противное его естеству. В чем это выражалось? В том, что нам постоянно повторяли, что мы, советские дети, самые счастливые в мире, ни один ребенок на свете не живет так счастливо, как мы. А все потому, что о нас заботится советская власть и товарищ Сталин лично. Нас кормят, одевают, обувают, учат, даже возят в пионерские лагеря и на елки — и все это товарищ Сталин. Наш дорогой и любимый вождь, самый лучший и справедливый человек на земле. И от нас требовали благодарности за все, что у нас было. Каждый должен быть благодарен товарищу Сталину, он — наш отец, лучший друг советских ребят. Партия и правительство тоже присутствовали в этих лозунгах, но это было что-то неопределенное, безликое — партия и правительство. А товарищ Сталин был наш вождь, его портреты сопутствовали нам на каждом шагу, мы знали его в лицо. Так я постепенно уверовал, что если бы не товарищ Сталин, я, оставшись сиротой, просто пропал бы. Мне ведь никто не объяснил, почему и как я остался сиротой, а сам я не задумывался над этим. Окажись я сиротой в любой другой стране, я бы давно погиб. Там же нет таких детских домов, бездомные дети умирают прямо на улицах. Дети бедняков там совсем не учатся, а уж пионерских лагерей и подавно там нет! Капиталисты заставляют бедных детей идти на заводы и фабрики в 6-7 лет, вместо школы, потому что их труд дешевле, чем взрослый. И дети быстро умирают от непосильного труда, голода и холода...

У нас и книжки, и пьесы были про это. И про то, как дети помогают взрослым бороться с ненавистным капитализмом. Мы принимали все это за правду и радовались, что нам так повезло, мы родились в Советском Союзе. Мы же знали, что весь земной шар опутан цепями рабства, которые рабочий класс должен разорвать — такой был значок МОПРа. А в нашей стране эти цепи уже разорваны. И мы по каждому

поводу повторяли: спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство! Это лозунг многих поколений советских ребят. Ведь и у нас в России счастье началось только после революции. Живо помню, как в третьем классе, притворившись во время мертвого часа спящим, я взахлеб читал ''Очерки бурсы'' Помяловского и ужасался той жизни. Я мог понять только внешнюю ее сторону: все эти плевки, смази, щипчики, горячие, на воздусях... И не мог себе представить: как же люди выносили такое? Я страшно жалел Карася, мне казалось, что он похож на меня. Вот бы его сюда! Мы бы дружили, и ему в нашем детдоме было бы гораздо лучше, чем в бурсе.

А если говорить совсем честно, я теперь с трудом могу разобраться: действительно ли я б ы л счастлив тогда или только з н а л, что я самый счастливый ребенок на свете...

Наглая провокация финляндской военщины

Ленинград, 26 ноября (ТАСС). По сообщению штаба Ленинградского округа, 26 ноября в 15 часов 45 минут наши войска, расположенные в километре северо-западнее Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артогнем. Всего финнами произведено семь артиллерийских выстрелов...

Известия, 27 ноября 1939 г.

ФИНСКАЯ ВОЙНА

Финская война случилась вскоре после того, как я попал в четвертый детский дом.

Финляндия все время грозит Советскому Союзу, затевает перестрелки и настоящие бои на границе, Ленинград в опасности... И советское правительство вынуждено было ответить военными действиями. Мы были радостными: о, белофинны! они узнают, как грозить Ленинграду и нападать на нас! они свое получат!..

А спустя какое-то время, когда война шла к концу, к нам в детский дом пришли красноармейцы, которые участвовали в этой войне. Между Покровом и Петушками есть давнишние военные лагеря — Киберево и Собинка. Вот туда, по-видимому, перебрасывали этих красноармейцев на отдых или переформирование. Их много было, они, наверное, шли пешком и в Покрове остановились на ночь.

А я с мальчишками в этот вечер старался запустить коробочного змея. Продавались до войны такие змеи с довольно сложным устройством для разбрасывания листовок. Нам его купили, мы сами его собрали и побежали на кладбище пускать. В четвертом детском доме ни сада, ни двора практически не было, сторож у ворот не сидел, и кладбище, которое находилось близко за нашим забором, было местом наших игр. Змей почему-то очень долго не запускался, но мы, хоть и стоял сильный мороз, никак не хотели уйти, не добив-

шись успеха. В конце концов мы его запустили. Змей поднялся, листовки рассыпались — дело было сделано, и мы совершенно счастливые побежали домой. Прибегаем — а тут еще одна радость, и какая: к нам пришла делегация красноармейцев!

Помню, мы устроили для них импровизированный концерт, пели, читали стихи. А они рассказывали нам, как воевали в Финляндии. Мы услышали, какие белофинны безжалостные и бесчеловечные, как они стреляли в наших бойцов из-за угла или с деревьев. Или наш боец входит в дом, видит там шоколад или что другое на столе. Он только дотронется — и в этот миг взрыв мины. Вот какие они негодяи, белофинны. Мне на ум не приходил вопрос: а зачем красноармейцы заходят в чужой дом? Я истинно думал: какие белофинны подлые и коварные, а наши бойцы — настоящие герои! Какие среди наших есть замечательные снайперы, как они все стоят друг за друга, выносят раненых с поля боя — об этом много тогда говорилось. И как наши бойцы страдали — там такие морозы...

Потом они у нас ужинали, и мы могли около них уже неофициально покрутиться и перемолвиться словцом-другим. Это была моя первая встреча с войной, она наполняла меня патриотической гордостью. Но, как это ни странно, я тогда обратил внимание, что у некоторых красноармейцев лица какие-то невеселые. Победители, народные герои, а лица что-то не те, румянца, что ли, или улыбки не хватает. Особенно один. Я спросил его о чем-то, сейчас уже не помню, о чем, но вопрос был по-мальчишески глупый: не то страшно ли на войне, не то много ли финнов он убил? Он даже, кажется, и не ответил, но посмотрел на меня с иронией и презрением и сплюнул. Это меня поразило: я почувствовал, что у него никакого восторга и радости по поводу войны нет. Думаю: чего-то я не понимаю... Он дал мне докурить свой чинарик.

Скоро на экранах Союза
новый художественно-документальный фильм
ИСПАНИЯ

В этом фильме зритель увидит волнующие эпизоды героической борьбы испанского народа против фашистских мятежников и интервентов.

Сценарий и дикторский текст орденоносца Вс. Вишневского.

Режиссер — заслуженный артист республики Эсфирь Шуб.

Фильм снимали главные операторы-орденоносцы Р. Кармен, В. Макасеев в содружестве с испанскими республиканскими операторами.

Известия, 5 июля 1939 г.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ

Конечно, я всей душой следил за ходом войны в Испании. Гражданская война — это как и у нас было после революции. Я ненавидел Франко и завидовал интербригадовцам: они сражались за справедливость! "Пионерская правда" много писала об испанских ребятах, о тех, кто помогает отцам на войне, и о тех, кто страдает от войны, от бомбардировок, от разрухи. Появились испанские апельсины, вошли в моду испанские шапочки с кисточкой. Всем детдомовцам выдали такие шапочки, и мы их с гордостью носили.

А потом как-то так оказалось, что гражданская война в Испании кончилась, в газетах она просто как будто сошла на нет. А еще позже мы узнали, что в Советский Союз привезли испанских детей, и те, у кого нет родителей, попали в детские дома. Мы жалели, что никто из испанцев не попал к нам в Покров, очень хотелось на них хоть посмотреть, ведь и их мы считали героями.

И вдруг летом сорокового года нам объявили, что мы поедем на встречу с испанскими детьми. Отобрали делегацию

из наших детских домов, и я в нее попал. Испанские дети жили за Москвой, где-то возле Пушкина. До Москвы мы ехали поездом, потом к ним на автобусе, все с песнями. Приехали как раз к обеду. Мне там очень понравилось. Место красивое на речке Уча, и обед был замечательный, гораздо лучше, чем у нас. А после обеда было торжественное собрание. Нам рассказывали о гражданской войне в Испании, о героизме испанского народа и тех, кто ему помогал, и о коварстве Франко и других капиталистов. Ничего особенно нового не говорилось, мы уже об этом читали, но слушать все равно было приятно, потому что рассказывали те, кто сам был в Испании.

Потом испанские ребята показали нам свою самодеятельность: пели испанские песни, плясали. Я впервые увидел испанских детей, вообще впервые увидел иностранцев, но никакого особенного впечатления они на меня не произвели — ребята как ребята. Мы даже пообщались, хотя они еще не говорили по-русски, а мы по-испански знали только "Но пасаран!" — это все тогда знали. Отсутствие общего языка нам как будто не мешало. А может быть, именно поэтому я больше думал о том, что их кормят гораздо лучше нас — поговорить с испанцами по-настоящему я не мог, а ужин был еще роскошнее, чем обед. Правда, позже я решил, что это специально по случаю нашего приезда устроили такой званый прием, а без гостей их кормят точно так же, как нас в Покрове.

Но больше всего из этой поездки мне запомнилось вот что. Когда нас уложили спать, мы долго не могли заснуть, видно, были сильно возбуждены и поездкой, и торжественной частью, и концертом, да и новым местом. И мы решили потихоньку пойти посмотреть, что делают наши воспитатели. Мы подсматривали в щелку: наши и здешние воспитатели пировали. Они пили вино, ели что-то, как мне казалось, особенное, веселились. И когда они среди ночи, наконец, разошлись, мы в этот зал проникли. Это вышло, как в каком-то рассказе Зощенко о рождественской елке. Мы стали доедать и допивать все, что осталось на столе: вино, какие-то напитки, какие-то кушанья... Очень хотелось попробовать всего этого, потому что оно казалось необыкновенным.

Почему нарушаются законы о труде подростков?

...Советские законы четко и ясно определяют условия труда подростков и молодежи. Если в капиталистических странах молодежь и подростки — наиболее эксплоатируемая и бесправная часть рабочего класса, то в нашей стране труд подростков есть прежде всего учеба, период овладения известной квалификацией и получения необходимых техническо-производственных знаний.

В СССР строго запрещается допускать подростков к ночным и сверхурочным работам. Согласно существующим законам, подростки принимаются на работу с 16 лет, и только с разрешения инспекции, как исключение, допускается прием на работу подростков с 14 лет, для которых установлен четырехчасовой рабочий день.

...Согласно советским законам, рабочий день для подростков от 14 до 16 лет (принятых с особого разрешения инспекции по охране труда) установлен 4-часовой, а для подростков от 16 до 18 лет — 6-часовой. Вопреки этому совершенно ясному закону, действующему уже несколько лет, на ленинградском заводе "Красная заря", на Мурманской мебельной фабрике и в 46-м московском почтовом отделении подростки работают 7 часов.

Некоторые руководители предприятий, не умея правильно организовать процесс производства, допускают рабочих-подростков, особенно в последний период выполнения плана, к сверхурочным работам. Если это мероприятие вообще допускается в нашей стране как исключение, то оно совершенно нетерпимо по отношению к подросткам.

П. Вершков, Секретарь ЦК ВЛКСМ

Правда, 4 июля 1937 г.

РЕМЕСЛЕННИКИ

Кажется, в 1940 году организовали ремесленные училища. Туда брали ребят лет в четырнадцать-пятнадцать, чтобы обучить разным рабочим профессиям и отправить работать. Учились там два года — и все, ты рабочий человек. Из нашего детского дома сразу человек пятнадцать сдали в ремесленное училище в Орехово-Зуеве. Выбор профессий в ремесленном был небольшой: или слесарь-инструментальщик, или слесарь по ремонту текстильных машин.

И вот под новый сорок первый год ребята из ремесленного, наши бывшие воспитанники, приехали домой на каникулы. Они только четыре месяца проучились в ремесленном, но это были уже другие люди — почти взрослые. Главное, что меня и других детдомовцев потрясло — форма. У них была замечательная черная форма: брюки, гимнастерка под ремень, шинель тоже под ремень и фуражка. На фуражке, на ременной пряжке и в петлицах — серебряные вензеля РУ № — и номер ремесленного училища. Скажу честно, в этой форме все они показались мне чем-то вроде прекрасных принцев.

У нас в детском доме тоже было нечто вроде формы, но самая простая: все были в одинаковых брюках и рубашках. Да и то нам только в четвертом классе выдали длинные брюки. Это была большая радость, потому что до того мы ходили в коротеньких штанишках с помочами. Это же обидно: я большой, уже в третьем классе или даже перешел в четвертый, а хожу как какой-нибудь детсадовец в коротких штанишках, и помочи крест-накрест застегиваются. Просто унизительно. Так что получение настоящих брюк было большим событием. А тут приехали эти в своих черных формах, и я начал им завидовать. Собственно, я даже не интересовался, что они там делают, чему их там учат в ремесленном — только формой. Зима в том году была страшная, в Подмосковье все сады повымерзли, а наши ремесленники почему-то приехали в фуражечках. И у многих уши пообморожены, так что пока они у нас гостили, им выдали ушанки.

Но все равно они ходили очень гордые своей формой и своей взрослостью. И тем, что живут в большом городе, в общежитии, а не в детском доме. И мы понимали, что есть чем гордиться. И я втайне мечтал быть таким. Ходить в такой форме. Мечта моя едва не сбылась...

У ореховских текстилей

Орехово-Зуево, 29 апреля. (По телефону). В предмайском соревновании текстильщики Орехово-Зуева добились новых успехов. Крупнейшее текстильное предприятие города — Орехово-Зуевский хлопчато-бумажный комбинат — на шесть дней раньше срока выполнило четырехмесячное задание по прядению и выпуску тканей и на пять дней раньше срока — программу по выпуску ниток. К Первому мая коллектив комбината даст сверх плана свыше 300 тонн пряжи, 440.000 метров тканей и 1.600 тысяч катушек ниток.

Выполнили также четырехмесячную программу ткацкие фабрики №1, №3, Подгорненская и Дрезненская.

Известия, 30 апреля 1941 г.

И Я БЫ...

В 1941 году мне по бумагам должно было быть уже пятнадцать лет. И вот в начале мая, мы еще не сдавали экзаменов в пятом классе, собрала нас заведующая Мария Николаевна Угольникова и повезла в Орехово-Зуево. Человек от восьми до двенадцати мальчишек — сейчас точно уже не помню.

Как раз тогда она заполняла наши дела для сдачи в ремесленное училище при фабрике им. Петра Моисеенко, но мы этого еще не знали. Вызывала она нас по одному. И тогда у меня с ней состоялся очень важный для меня разговор. Она сказала мне, что отца моего, по-видимому, нет в живых...

— А мать свою ты, Миша, может быть, еще встретишь. Ее зовут Мария Ивановна Шевелева. — Так я тогда запомнил.

И еще она мне сказала, что мне нечего стыдиться своих родителей, я не без роду-племени, они были хорошие люди, и я когда-нибудь все пойму. Ну, а подробностей она, скорее всего, и сама не знала. Этот разговор я запомнил очень хорошо. И именно в этот раз, когда Марья Николаевна на минутку вышла из комнаты, а я заглянул в свое личное дело, я прочел справку, из которой было видно, что я родился в 1929, а не в 1926 году, как стояло потом во всех моих документах. Но я, конечно, об этом "открытии" никому не сказал, да и не осмыслил его тогда, просто запомнил. Мне и в голову не могло прийти, что в документах может оказаться какая бы то ни было ложь.

Тогда же Марья Николаевна проставила мне день рождения — 15 января, до этого дня рождения у меня не было. И спросила:

— А какое ты, Миша, хочешь, чтобы у тебя было отчество?

А я почему-то мечтал быть Георгиевичем. Михаил Георгиевич — это было бы очень красиво. Марья Николаевна сказала, чтобы я подумал до завтра и завтра ей ответил. Я промечтал об отчестве всю ночь, а когда пришел к ней утром и сказал, что хочу быть Георгиевичем, она ответила:

— Ну, Георгиевич — это слишком сложно, я тебе уже проставила Иванович...

Так я на всю жизнь стал Иванычем. Как сказал один мой друг, когда я с ним только познакомился после всех лагерей: Михаил Иванович Николаев — это как псевдоним или подпольная кличка...

Поехали мы в Орехово-Зуево, а зачем — никто нам не сказал. Собрала нас Марья Николаевна и повезла. Приехали в Орехово-Зуево, пришли к какой-то конторе, день жаркий, мы на улице стояли. Она опять нам ничего не сказала, пошла в контору. Часа через два выходит Марья Николаевна из этой конторы. И я помню, что на лице у нее... она расстроенная какая-то вышла. И сказала:

— Поехали назад.

Мы поехали назад, нам какая разница: мы посмотрели город, прокатились на поезде. Приехали мы обратно, и я ее спросил:

— Марья Николаевна, а что мы ездили-то, зачем?

Тогда она сказала:

— Мы хотели вас отдать в ремесленное училище, чтобы вы получили специальность.

— А как же школа? — говорю я. Я к тому времени уже поохладел к форме.

— Ну, вы бы там учились...

— Но мы же работали бы... Какая там учеба?

— Работаете же вы и тут, — отвечает.

— А куда нас?

— Мы вас направили в ремесленное училище имени Моисеенко.

— И что же, нас не приняли?

— Мы, — говорит, — на немножко опоздали, набор уже кончен...

Так — не знаю, к счастью или нет — с ремесленным училищем ничего не получилось, и я остался в детском доме до июля. И получил возможность окончить пятый класс.

Прибытие в Москву Министра Иностранных Дел Германии г. фон Риббентропа

23 августа в 1 час дня в Москву прибыл Министр Иностранных Дел Германии г-н Иоахим фон Риббентроп в сопровождении Статс-секретаря д-ра Ф. Гаус, барона фон Дернберг, г-на П. Шмидт, профессора Г. Гофман, д-ра К. Шнурре и др....

Заключение Советско-Германского Договора о ненападении

23-го августа в 3 часа 30 мин. дня состоялась первая беседа председателя Совнаркома и Наркоминдела СССР тов. Молотова с министром иностранных дел Германии г. фон Риббентропом по вопросу о заключении пакта о ненападении. Беседа происходила в присутствии тов. Сталина и германского посла г. Шуленбурга и продолжалась около 3-х часов. После перерыва в 10 часов вечера беседа была возобновлена и закончилась подписанием договора о ненападении, текст которого приводится ниже.

Правда, 24 августа 1939 г.

ЧУЖОЙ

Я уже говорил, что я как-то не сливался с коллективом, особенно с мальчишеским. Я всегда тяготел к девочкам. Они мне были ближе и приятнее, жалости у них больше, что ли. Может быть, оттого что я совсем не знал матери, меня тянуло к девочкам и женщинам-воспитательницам. Ну, а мальчишкам это, конечно, не нравится. Хоть я и участвовал во многих их проделках, но получалось, что в остальное время держусь особняком. В их играх я почти никогда не участвовал, предпочитая читать, для меня книги были самое интересное. А людей ведь раздражает, если ты не такой, как они — даже взрослых, не то что мальчишек. Например, у тебя очки, а у него нет. Он недоволен: а почему ты, собственно говоря, в очках? Ты кто такой? Ты что, лучше всех?.. И все в таком духе. Шляпы тоже многих раздражают. Вот и я наших мальчишек раздражал: они в футбол, в городки, а я все с книжками. Не то чтобы они меня не любили, а как-то я от них был отчужден. Но я не специально их сторонился, а просто я читал — и больше мне ничего не было нужно. К тому же я уже говорил, что был неловким, я и потом в жизни страдал от этого. У меня замедленная реакция в движениях, руки не хваткие, я никогда не был таким ловким и спортивным, как они, и в глубине души им завидовал. Я понимал, что никогда не смогу красиво ударить по мячу или еще что-то такое сделать. И в их играх я всегда чувствовал себя несколько приниженно. Вот в книгах я был уверен.

Теперь-то я понимаю, что, наверное, в отношениях с мальчишками я тогда был несносным, может быть, они чувствовали, что я отношусь к ним свысока, хотя я и сам этого не сознавал. Просто я понимал, что знаю гораздо больше них, и считал, что они ничего не знают. Людей я оценивал по тому, читают они или нет, и сколько книг они прочли. Наверное, наши мальчишки меня обсуждали и осуждали и злились на меня, но я ничего не понимал. Я жил своей жизнью, никого не трогал и был уверен, что так и должно быть. Понял я, как они ко мне относятся, очень поздно, когда меня избили.

Это случилось уже перед самой войной. Пошли мы однажды купаться на Мужское озеро. Одни. Из четвертого детского дома нас отпускали на озеро уже без воспитателя. Нас было человек двадцать. Я, как обычно, искупался, тут же вылез и стал читать книжку. Не помню, что именно я тогда читал. Ко мне подходит один парнишка и спрашивает:

— Ты что читаешь?

Я говорю:

— Ну, какая разница, что я читаю? Тебе-то что? Ты мне не мешай...

А он отвечает:

— Там такой-то (кто-то из наших же) хочет с тобой поговорить...

— О чем это он хочет со мной поговорить?

— А вот он интересуется, что ты читаешь...

Тут подошли другие. И как это бывает, один выхватил у меня книжку и побежал; я, естественно, за ним. Кто-то мне подставил ножку, я упал, тут они на меня навалились все. Я вскочил, меня опять сбили с ног. Ну, в общем, против меня оказалось человек двадцать. И они стали меня бить. Как бьют мальчишки, известно — бьют они жестоко; они меня избили, как говорится, до полусмерти. Я, наверное, потерял сознание, и они меня бросили и ушли. Когда я пришел в себя, мне было так обидно: собственно, за что меня избили? Я никому не сделал ничего плохого, и никому никогда не делаю ничего плохого — за что же они все на меня навалились?

Помню, и тогда и много раз потом я думал: хоть бы скорее вырасти, стать взрослым! Ведь взрослые никогда не дерутся... Как же мало я понимал во взрослой жизни!

Я пролежал там до позднего вечера. Потом подполз к озеру, смыл с себя кровь, еще полежал... Было очень тоскливо. И я решил в детский дом больше не возвращаться.

ЕЩЕ ОДИН ПОБЕГ

А у меня был тогда очень близкий приятель — Петька Кубрин. Мы с ним вместе учились, но он был городской, не детдомовский. У него были родители, дом свой. Петька был года на два постарше меня, но мы с ним в школе подружились, и он иногда приводил меня к себе домой. Я даже не знаю, как это выразить словами, но всегда для меня было необыкновенно радостно из детского дома прийти в нормальную семью. Мне там всегда все очень нравилось.

К тому же у петькиного отца были свои две лошади, я не знал, почему и откуда — думал: может, он лесничий? — но были свои лошади. Красивые. И была двухколесная таратайка. Наверное, и еще были разные телеги, но вот — двухколесная таратайка. И Петька брал у отца лошадей, сам запрягал, и мы с ним ездили кататься. И не только на таратайке, но и верхом, бывало, ездили. В ночное и просто так. Пока я несколько раз не упал с лошади. Да и не очень это мне доставляло удовольствие — ездить верхом, потому что без седла.

...Идти мне было некуда, и я, отдышавшись на этом озере и дождавшись, когда стало совсем темно, пошел к Петьке. Прихожу, вызвал Петьку из дому, он очень удивился, спросил:

— Что такое? Откуда ты?

Я говорю: вот какое дело получилось, я больше в детский дом идти не хочу. И все ему рассказал, как было. Он говорит:

— Ну, ты и не ходи в детский дом, оставайся у нас.

— Как это — у вас?

— Ну, как у нас? У нас будешь жить — и все. С нами.

Потом он пошел к отцу, наверное, отец и мать согласились. И я остался у них жить. Мне там было хорошо. А главное — мне у Кубриных было очень интересно жить. Я ведь впервые попал в семью, в какой-то совсем незнакомый мне мир. Ведь до тех пор мой мир был ограничен детским домом и книгами. И как живут люди рядом с детским домом,

я почти не знал. Ну, например, у меня никогда не было денег, я еще ни разу в жизни ничего не покупал в магазине. А тут мы пошли с Петькой в магазин, он мне дает, как сейчас помню, три рубля и говорит: купи хлеба. Мальчишка, Петька Кубрин. Дал три рубля и сказал: купи полкило хлеба. А я ведь даже никаких цен ни продуктам, ни хлебу не знал, потому что нам денег не давали, в магазин не посылали — и я ничего не знал. А Петька не мог себе представить, какой я дикарь, и ни о чем не предупредил. И когда продавец отвесил мне полкило хлеба, взял три рубля и начал давать сдачу с трех рублей — я очень удивился. Я не имел понятия о сдаче. Я думал, раз Петька дал три рубля, я должен отдать их продавцу — и все. Тут я впервые понял, что то, что ты даешь продавцу и что стоит какая-то вещь — не одно и то же. Хотя арифметику я уже знал и до этого. И такие "мелочи" оказывались на каждом шагу. Это было для меня жизненное открытие, жизнь в петькиной семье.

Но прожил я у них всего два дня. Меня хватились в детском доме. Пришел воспитатель, сказал:

— Миша, зачем ты тут? Ну погостил и хватит, пойдем домой.

Я отвечаю:

— Я больше не пойду в детский дом.

Он, конечно, стал спрашивать, почему, но я ему не сказал настоящей причины, что меня так избили. Я сказал:

— Мне не нравится жить в детском доме, мне нравится здесь. Я решил тут жить.

— Но как же ты можешь тут жить? Это не твой дом, не твоя семья...

Короче говоря, пришел еще один воспитатель, и меня увели. Мальчишки в детском доме встретили меня как ни в чем не бывало. Особенно когда поняли, что я не нажаловался. Как говорится, мало ли что бывает между своими... Зачем, мол, ты убежал, мы вовсе не хотели; ты, вроде бы, сам задирался...

Вскоре нас отправили работать в колхоз, а там и война...

А про Кубриных я все-таки узнал, почему у них были лошади. Когда перед отъездом из России мы были в Покрове, разговорились на улице с незнакомой бабкой. Я и спроси:

— А вы, бабушка, Кубриных не знали?

— Как не знала?! Знала. Ведь он извозчик был! Извозчик он был, возил на своих лошадях...

Скверы Москвы

Вчера в Москве в Ильинском сквере произведена посадка пальм. Деревья высажены на клумбах близ памятника героям Плевны и простоят здесь все лето. Кроме того, пальмы посажены в сквере у Сретенских ворот. Наряду с пальмами высаживаются разнообразные экзотические растения и цветы.

Правда, 15 июня 1941 г.

* * *

Жирафы Московского зоопарка переведены в летние вольеры (помещения). Юные посетители парка с любопытством наблюдают за животными. – Фото А. Шайхета.

Правда, 22 июня 1941 г.

ВОЙНА

Я уже сдал экзамены за пятый класс, но в лагерь в это лето еще никто не уехал, а направили нас на работу в колхоз, в деревню Перново под Покровом. Жили мы по-крестьянским избам, а работали уже совсем по-взрослому — на покосе. Кто поменьше и послабее — пололи. Колхоз нас за работу кормил. Прожили мы в Пернове дней 10-15 и вернулись в город. Как раз была суббота, 21 июня 1941 года.

А 22 июня утром просыпаемся как обычно, но почему-то в городе какой-то переполох... Вдруг кто-то прибегает и кричит:

— Ребята, пушки везут! Красная армия идет!

И мы все выскочили посмотреть. Я уже говорил, что под Покровом были военные лагеря. Может быть, оттуда, во всяком случае, по Горьковскому шоссе со стороны Петушков на запад через Покров идут машины, тянут за собой пушки. Какая радость посмотреть! Пушки, тягачи, красноармейцы — и мальчишки, и девчонки просто в ажиотаже. Детский дом наш стоял недалеко от шоссе, и мы как позавтракали, так и побежали, часов в девять или в полдесятого утра. Тут уже не до распорядка дня. Смотрим, но еще ничего не знаем. И вдруг по толпе разнесся слух: Молотов будет по радио говорить в 12 часов!

К 12-ти часам, конечно, толпа на главной площади под рупором. Тогда во всех городках на центральной площади был установлен на столбе уличный динамик с большой трубой, как у граммофона — рупор. Ведь радио было еще далеко не в каждом доме. И вот весь наш город собрался под рупором слушать Молотова. А до 12-ти часов никто ничего не говорил, и никто не знал, что случилось. Молотов объявил: Вероломно напав... Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами...

Говорят, женщины плакали. Но я это только потом узнал, сам я просто ничего такого не заметил. У нас, ребят, как говорится, полны штаны радости. Как же, такое событие — война!

Выступление по радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В.М. Молотова 22 июня 1941 г.

Граждане и гражданки Советского Союза!

Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек...

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Правда, 23 июня 1941 г.

”ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...”

Мы же знали, что мы победим сразу. Какие победные песни мы пели перед войной! ”Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны...” А какие фильмы смотрели! ”Если завтра война...” — там как раз пелось: ”Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!” И мы, конечно, были готовы. Мы пересмотрели все фильмы о будущей войне, где обязательно враг нападает на Советский Союз. И Советский Союз ломает все преграды и разбивает врага на его территории. Воевать на нашей земле — да мы бы камнями закидали того, кто посмел бы такое сказать... Вот, к примеру, ”Глубокий рейд”, я его до сих пор помню. Какая-то страна — не то Германия, не то Англия, не то Франция — нападает на Советский Союз. И наши летчики летят бомбить эту страну. А там по всей стране полное затемнение и, естественно, ничего не видно, так что советские летчики не смогут найти цели для бомбежки. В это время показывают крупным планом: революционеры-подпольщики той страны. Пока наши самолеты летят, у них идут дебаты, что нужно помочь Советскому Союзу, родине международного пролетариата, разбомбить их город. Действие происходит на электростанции, которая освещает город. И один рабочий, самый передовой — это я сейчас могу иронизировать, а тогда я воспринимал все это с восторгом — бежит к рубильнику, чтобы включить и осветить город. Он знает, что советские летчики подлетают, и им ничего не будет видно в темноте. Но тут охранник — то ли эсэсовец, то ли из Интеллидженс Сервис — стреляет в него и смертельно ранит. На последнем дыхании рабочий успевает включить рубильник и повисает на нем мертвый. И когда наши самолеты подлетают — темнота — и вдруг город вспыхивает ярким светом. И летчики находят цели и начинают бомбить город. Такой апофеоз, и я вместе с другими кричал в этом месте ”ура!”.

Это была очень мощная тема: рабочие тех стран, с которыми мы будем — нам придется — воевать, только и ждут,

чтобы помогать нам против своей страны. Чтобы мы пришли и спасли их от капитализма... Тема эта постоянно повторялась в кино, в пьесах, в рассказах в "Пионерской правде". И я не сомневался, что так и будет. В каких странах это происходило? Сначала, до августа тридцать девятого года, пока Гитлер не стал нашим другом, это была Германия и немцы, нас очень настраивали против немцев. Кстати, и в школах учили только один иностранный язык — немецкий. Наверное, чтобы лучше ориентироваться, когда мы будем воевать на их территории. А после августа тридцать девятого это стало несколько абстрактно: кто-то, какая-то страна. Европейская, конечно.

И когда Молотов объявил о начале войны, я слушал и думал: какой же Гитлер дурак! Неужели он, вроде того что, этих фильмов не смотрел?! Ведь должен он прекрасно понимать — ну, сколько ему осталось жить? Разобьем мы его вдрызг! Это дело дней. И как же человек не может понять такой простой вещи?.. И куда он полез?! С кем тягаться?.. А еще договор с нами заключил, такой гад... Вот с такими настроениями — что мы их... только я не поспеваю, жалко, что я еще мальчишка, на войну не попаду, потому что это, конечно, до меня кончится — встретил я известие о войне. Опять мне не повезло — это искренняя реакция не только моя, но, могу сказать, всего детского дома. Мы были по-настоящему огорчены, что война скоро кончится.

Новые красноармейские песни

Вчера на репетиции в Центральном Доме Красной Армии Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски разучивал новые боевые песни...

По-новому звучит сейчас в исполнении ансамбля текст популярной песни композитора Покрасса "Если завтра война" (текст В. Лебедева-Кумача).

"Если завтра война" —
так мы пели вчера,
А сегодня война наступила.
И когда подошла боевая пора —
Запеваем мы с новою силой.

Правда, 27 июня 1941 г.

Я ПЬЮ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Тут нас начали вызывать в школу, хотя уже давно были каникулы. Вызывали старшеклассников — шестые и седьмые классы — назначали дежурства на случай немецких налетов. Я думаю: какие налеты? кто позволит?.. Но все равно: дежурить, да еще вместе с девчонками, на крыше — это же прекрасно! Покров восточнее Москвы, налетов на него не было, но для нас ночные дежурства на крыше школы — это такая романтика! Такие вокруг этого волнения, столько радости. Дисциплина, конечно, сразу упала...

Но проходит неделя, проходит другая, и тут я обнаружил, что вроде ничего определенного не говорят, но в то же время в последних известиях: "после ожесточенных и упорных боев нашими войсками оставлен город такой-то, такой-то и такой-то...". Я думаю: как же это так? вдруг почему-то оставляем... Это у меня никак не умещалось в голове.

И вот однажды, когда я пришел на ночное дежурство, я стою у карты и смотрю, как территория Советского Союза уменьшается. Там флажками отмечали линию фронта. Вдруг слышу сзади голос:

— Ну, что смотришь?

Я оборачиваюсь, гляжу — наш завхоз. Говорю:

— Да вот, смотрю...

— Ну, и как? — спрашивает.

— Да вот как-то...

Что я мог ему сказать? А он мне на это:

— Выпить хочешь?

— Как — выпить?

— Ну, как выпить? — Выпить!

Я говорю:

— Давай! — А я ведь еще никогда не пил, мне же всего 12 лет.

— Ну, пошли, — говорит. Открывает он какой-то класс, а весь штаб был в учительской, конечно. Входим в класс, он зажигает свет и вынимает из кармана, как сейчас помню, бутылку "зубровки" — пол-литра. Ставит два стакана, выни-

мает еще луку, огурцов, черного хлеба. Мне наливает полстакана и говорит:

— Хватит с тебя! — Себе другой полный стакан налил.

— Ну, — говорит, — будем! Давай!

Выпил я — у меня из глаз слезы, из носа сопли, изо рта слюни. Он мне кусок хлеба черного сует, говорит: занюхивай! занюхивай! Я занюхал, он мне луковицу с солью: ешь! Поел я, посидел, отдыхиваюсь, а он мне что-то начинает говорить: ты,мол, еще молодой, сосунок, а мне вот скоро уже на фронт идти. А я ему:

— Так это же хорошо! Ты-то пойдешь, а я вот не поспею. Кончится война...

Он так на меня посмотрел, посмотрел на меня странным взглядом, которого я не понял.

— Ну, на, еще выпей! — Еще сколько-то мне налил, себе все остальное вылил: — Ну, давай! — Выпили мы с ним. — Ну, как ты? — спрашивает.

— Ничего, все нормально, — отвечаю.

— Ну? Ты погляди...

А я про себя думаю — уже у меня мысли из литературы: как это пишут — пьяный напился? А я в первый раз — и мне ничего. Закурили мы с ним — я к тому времени уже курил — сидим, курим, а он что-то такой невеселый. Я думаю: ему радоваться надо, на фронт идет человек...

— Ну, ладно, — говорит он. — Ты куда сейчас?

— Да мне на крышу надо.

А он советует:

— Ты на крышу не лазь. Зачем тебе?

— Нет, мне надо, у меня дежурство.

— Ну, если дежурство, валяй, — говорит. И ушел.

А я вылез на крышу, посмотрел, потом слез и пошел в учительскую. Там старшие ученики и один или два учителя. Я стою, слышу, они о чем-то гутарят. Сейчас-то я понимаю, что уже хорош был, а тогда удивлялся: что-то меня водка не берет? Говорят, она пьянит, а я совершенно трезвый... И тут вдруг вижу: стена поползла вверх. Что это с ней?.. Что было дальше, я уже не помню. Так прямо в учительской я и завалился. Наверное, они решили, что мне плохо, потому что очнулся я уже в детском доме, в постели. И воспитатели спрашивают:

— Что у тебя с животом, Миша, плохо тебе?

Может быть, я по пьянке жаловался, что живот болит. Но завхоза я не выдал, ничего про нашу выпивку не сказал. Это было мое "боевое крещение".

* * *

На всем протяжении фронта фашистские захватчики получают решительный отпор нашей доблестной Красной Армии, героически отстаивающей каждую пядь родной земли.

Смертельным огнем, мощными контратаками встречают советские бойцы зарвавшегося врага, наносят ему жестокий удар.

Миллионы советских патриотов в тылу отдают свои силы, свою энергию для того, чтобы с каждым днем все крепче становился отпор врагу.

Известия, 11 июля 1941 г.

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 11 июля)

В течение 11 июля существенных изменений на фронте не произошло.

Наша авиация в течение дня сосредоточенными ударами уничтожала мотомеханизированные части противника, атаковала авиацию противника на его аэродромах и бомбила Плоешти.

По уточненным данным, нашей авиацией в течение 9 и 10 июля уничтожено 179 самолетов противника.

* * *

Противник пытался наступать на участке N. Наши части открыли артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь. Ослабленный метким огнем враг был контратакован. После боя перед передним краем обороны энского участка было обнаружено 1.215 трупов солдат и офицеров двух немецких горнострелковых дивизий.

Известия, 12 июля 1941 г.

ДЕТСТВО КОНЧИЛОСЬ

Постепенно жизнь вошла в свою колею. Хоть и война, а вроде бы ничего не изменилось. Нас только больше стали гонять на работу в колхозы, уже часов на 6-8 каждый день... Помню третье июля — знаменитая речь Сталина, первая с начала войны. Он вообще-то не баловал народ своими выступлениями. Опять мы стояли на главной площади под рупором и слушали: "Дорогие братья и сестры! — И слышно было, как у него голос дрожит и руки трясутся — он, видно, воду себе в стакан наливал. — Наши войска временно оставляют территорию..." и прочее и прочее.

А потом наступило одиннадцатое июля. Этот день я навсегда запомнил. Одиннадцатого июля опять нас, тех 8 или 12 мальчишек, которых весной Марья Николаевна не успела сдать в ремесленное училище, собрали и опять повезли в Орехово-Зуево. Марья Николаевна объявила, что нас выпускают из детского дома в светлое будущее, в самостоятельную жизнь. Дали мне чемодан, в него положили: зимнее пальто с меховым воротником, по две смены трусов и маек, полотенце, ботинки, куртку... И кажется, по 30 рублей нам выдали. Вот с этим багажом я и пошел в светлое будущее. Дали каждому по пакету, а в нем метрика. У меня значилось: Николаев Михаил Иванович. Русский. Родился 15 января 1926 года в городе Покрове Орехово-Зуевского района Московской области. Мать, отец — прочерки, не имею. Вот, собственно говоря, и весь документ. Кажется, печать была гербовая.

Собрали нас с вещами и повезли в Орехово-Зуево. Приехали на станцию и повела нас Марья Николаевна пешком через весь город. Город довольно большой, мы с чемоданами, жара, километров 6 или 7 пришлось пройти. Пришли в пригород; есть там деревня Демихово, в ней был чугунно-литейный завод. Вот туда она нас и привезла, уже не в ремесленное училище, а прямо на завод. Сдала она нас в контору, пожелала каждому счастья. Простились мы очень тепло. Потом, до эвакуации, мы еще раза два ездили в Покров навестить

свой детский дом, но такого тепла и чувства, что приезжаешь домой, больше не было. Марья Николаевна уехала, а мы остались в деревне. Одни в незнакомой обстановке, в заводской конторе. Пришел какой-то дяденька:

— Ну, ребята, пошли. Я вас помещу, покажу, где вам жить.

Привел он нас в заводской клуб. Простое деревянное здание, кажется, по случаю войны кинофильмы не шли и танцев не было. Был в клубе красный уголок, в нем нас и поместили, там мы спали. Деревянные топчаны на козлах, на них матрацы и подушки, набитые сеном, одеяла солдатские. Вот и все.

— Кормиться, — говорит этот дяденька, — вы будете в заводской столовой три раза в день. До начала следующего месяца, до первого августа, пока вы не заработаете денег, мы вас будем кормить. А уж с первого августа, как получите свои деньги, будете сами питаться, в столовой... — Так он нам расписал нашу будущую жизнь.

— Завтра утром приходите к восьми утра к заводской проходной, и мы вас распределим на работу — кого куда.

Ну, ночь мы переспали на новом месте, утром пошли. Завод хоть и небольшой — тысячи полторы рабочих — но вполне серьезный. Провели нас через проходную в отдел кадров. Оформили. Распределили нас по разным местам, судя по внешности: кто как выглядит. Там было три цеха: чугунно-литейный, механический и котельный. В котельном из прокатно-железных листов делали котлы типа паровозных. В механическом шла обработка деталей, но из-за войны весь цех перешел на изготовление артиллерийских снарядов. И чугунно-литейный тоже делал разные поделки для военной промышленности. Вот сюда меня и определили учеником формовщика, а заодно и заливщика. Время было военное, не до учебы. Ученик всегда должен быть на подхвате, выполнять все, что прикажет мастер. А учиться приходилось по ходу дела, в процессе работы.

Работа была сменная. Одну неделю работаешь по 12 часов каждый день, другую — по 12 часов — каждую ночь. Неделя уже была семидневная. Мы и представить себе не могли, что есть законы, которые запрещают нам работать так много.

Так в двенадцать лет я стал рабочим.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время

В целях обеспечения выполнения производственных заданий, связанных с нуждами военного времени, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

2. Лица, не достигшие 16 лет могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более двух часов в день.

Правда, 27 июня 1941 г.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССИКА»

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 1. Иосиф Бродский. Об одном стихотворении. (Вместо предисловия). Виктория Швейцер. «Своими путями». (Биографический очерк). Стихотворения 1908—1916 гг.: «Вечерний альбом». «Волшебный фонарь». «Юношеские стихи». «Версты 1» (1916). Стихи, не вошедшие в сборники. 402 стр. Бум. обл. $25.00. **Том 2.** Стихотворения 1916—1922 гг.: «Версты 2». «Лебединый стан». «Стихи к Блоку». «Психея». «Ремесло». Стихи, не вошедшие в сборники. 420 стр. Бум. обл. $25.00. **Том 3.** Стихотворения и переводы 1922—1941 гг.: «После России». Стихи и переводы 1922—1941. Воспоминания М. Слонима и Л. Чуковской. 545 стр. Бум. обл. $32.00. **Том 4.** Поэмы. 392 стр. Бум. обл. $28.00.

АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ. История парикмахерской куклы и другие сочинения Ботаника X. Предисловие А. Бахраха. Очерк творчества Л. Черткова. 450 стр. $15.00.

ЕЛЕНА ШВАРЦ. Танцующий Давид. Стихи разных лет. 122 с. $7.95

АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР. 2 × 2 = 4. Стихи. 1926—1939 гг. Биогр. заметка А. Головиной. Предисловие проф. Ю. П. Иваска. 104 стр. Тв. пер. $13.00. Бум. обл. $6.95.

Access to Resources in the '80s: Proceedings of the First International Conference of Slavic Librarians and Information Specialists. Ed. by Marianna T. Choldin. 110 p. $7.50.

EDWARD KASINEC. Slavic Books and Bookmen. Papers and Essays. 180 p. $13.50.

WOJCIECH ZALEWSKI. Russian-English Dictionaries with Aids for Translators. A Selected Bibliography. 144 p. $7.50.

WOJCIECH ZALEWSKI. Fundamentals of Russian Reference Work in the Humanities and in Social Sciences. 170 p. $13.50.

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ

НИНА БЕРБЕРОВА. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия.

НИНА БЕРБЕРОВА. Биянкурские праздники и другие рассказы.

МИХАИЛ ДЕМИН. Таежный бродяга. Роман.

ЮРИЙ ИВАСК. Повесть о стихах.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 5. Драматические произведения.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Новые тексты и материалы. Выпуск 1. Письма.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Избранная лирика.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ. Крыса. Подготовка текста и комментарий Роналда Врууна.

EUGENE J. KISLUK and EUGENE BESHENKOVSKY, EDS. Vive la Pologne! The Henryk Gierszynski Collection. Ca. 500 p.

BOSILJKA STEVANOVIC and VLADIMIR WERTSMAN. Free Voices in Russian Literature, 1950s — 1980s: A Bio-Bibliographical Guide. Ca. 500 p.

МАГАЗИН «РУССИКА» ПРЕДЛАГАЕТ

СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. Двадцать писем к другу. США, 1981. 216 с. $10.00.

БОРИС БАЖАНОВ. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. 2-е издание. США, 1983. 319 с. $15.00.

ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН. Играем блюз. Повесть. США, 1983. 96 с. $7.00.

ИНДИЙСКИЕ ТРАКТАТЫ О ЛЮБВИ. США, 1977. 133 с. $4.00.

НИКОЛАЙ КАТЕНЕВ. Костя Попандопуло и я. США, 1977. 325 с. $6.95.

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИЙ. Красная площадь. Диссидент и чиновница. Повесть и рассказ. США, 1983. 189 с. $8.00.

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИЙ. Мы встретились в раю. Роман. США, 1983. 313 с. $17.50.

КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. В 6 томах. Израиль, 1976—

Том 1. Аарон — Высоцкий. 756 кол., илл., тв. пер. $25.00.

Том 2. Габбай — Измир. 868 кол., илл., тв. пер. $30.00.

Принимается подписка на льготных условиях.

ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВ. Владимир Высоцкий и другие. США, 1983. 253 с. $17.50.

ЭДУАРД ЛИМОНОВ. Дневник неудачника, или Секретная тетрадь. США, 1982. 249 с. $12.50.

ЭДУАРД ЛИМОНОВ. Это я — Эдичка. 2-е издание. США, 1982. 281 с. $12.50.

ДАВИД МАРКИШ. «За мной!» Записки офицера-пропагандиста. Израиль, 1984. 66 с. $4.00.

ДАВИД МАРКИШ. Пес. Роман. Израиль, 1984. 284 с. $14.00.

ДАВИД МАРКИШ. Шуты, или Хроника из жизни прохожих людей (1689—1738). Израиль, 1983. 285 с. $14.00.

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ. (Андрей Платонов. Повесть и рассказы). США, 1983. 180 с. $10.00.

СЕМЕН РЕЗНИК. Дорога на эшафот. США, 1983. 127 с. $8.00.

ВЯЧЕСЛАВ СЫСОЕВ. Ходите тихо, говорите тихо. (Записки из подполья). США, 1983. 96 с. $7.00.

ТАНАХ. В 3-х томах. 1. **Пять книг Торы.** Израиль, 1975. 271 с.

2. **Первые и последние пророки.** Израиль, 1978. 494 с.

3. **Кетувим.** Израиль, 1978. 394 с. Цена комплекта $29.00.

ТРЕТЬЯ ВОЛНА. Альманах литературы и искусства. Выпуски 13, 14, 15, 16, 17, 18. Цена одного выпуска $6.00.

ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ. Солженицын и социалисты. Предисловие А. Глезера. США, 1983. 47 с. $4.50.

ДАВИД ФРИДМАН. Возвращение Менделя Маранца. США, 1985. 155 с. $8.00.

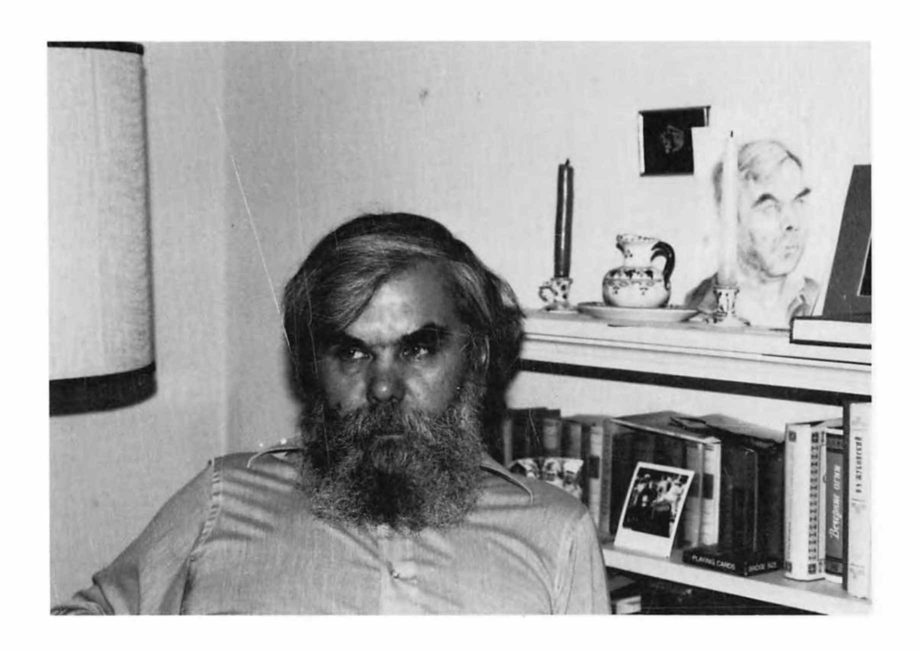
СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН. Вольный стрелок. Роман. США, 1984. 320 с. $18.50.

АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН. Конец трагедии. США, 1973. 236 с. $6.50.

МИХАИЛ ЯКОБСОН. Карзубый. Лагерная повесть. США, 1983. 90 с. $6.50.

AVRAHAM SHIFRIN. The First Guidebook to Prisons and Concentration Camps of the Soviet Union. Швейцария, 1980. 379 с. $7.50.

Mikhail Nikolaev
Detdom
Printed in USA



Михаил НИКОЛАЕВ родился, по официальным документам, в 1926 г. Ни своей настоящей фамилии, ни родителей не знает; воспитывался в детских домах г. Покрова Владимирской области. Осенью 1943 пошел добровольно в армию — не из патриотизма, а от голода и бездомности. Был танкистом, воевал в Восточной Пруссии.

В 1950, будучи солдатом, в Свердловске на избирательном участке призвал присутствующих не голосовать, т. к. выборы фальшивые. Приговорен военным трибуналом к пяти годам. Вышел «по зачетам» через три года. В 1955 г. был снова арестован за демонстрацию около свердловской тюрьмы в знак протеста против расстрела в ней заключенных. Приговорен к двум годам, отбыл на Северном Урале.

Вернувшись в Свердловск, решил серьезно заняться агитацией среди рабочих. Организовал группу, выпускали листовки. Когда пришли арестовывать, убежал в Грузию, надеясь выбраться из Советского Союза, но был арестован при попытке перейти границу под Батуми. Приговорен сначала к расстрелу, замененному 25-ю годами, при пересмотре дела — к 15, затем — к 10, которые и отсидел в Мордовии, в Потьме. После освобождения в октябре 1967 жил в Тарусе и Боровске Калужской области, работал грузчиком, кочегаром, строителем, слесарем-газовщиком.

В июле 1978 приехал с семьей в США. Работает уборщиком в Амхерст-Колледже (Амхерст, Массачусетс).

ISBN: 0-89830-092-4